

Е-15

136419

ИВАН ЕВДОКИМОВ
У ТРИФОНА
НА
КОРЕШКАХ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
//
ПРОЛЕТАРИИ

Б

Т

ИВАН ЕВДОКИМОВ

У ТРИФОНА-НА-КОРЕШКАХ

614931

ИЗДАТЕЛЬСТВО „ПРОЛЕТАРИЙ“

МЕДВЕДИ

Первый снег выпал денной, ненадежный, полежал день — и сошел. И не быть бы зиме еще сорок дней. Но тут из-за бора у Трифона - на - Корешках, к вечерку, на закате, начало яснеть и краснеть и холодеть небо. Ночью подстыло, к утру земля заостенела, о полдень на Коровьем пруду в Овинцах ребятишки бегали с деревянными колотушками и глушили карасей. Зазимье пришло на той же неделе и заворотило нос в рукавицу. Пошли снега с ветром, с туманом, с моросью. Несло днями волокушу, а ночью закручивало метели в занос, в уброд, в натёк, в наст. На Спиридона ходили в Овинцах к обледелым колодцам с длинной журавлиной ногой кривыми и узкими тропками, по большой дороге скребли полоза наслуд под коньком у светелок и приходили волки на гнилой дым из труб, уползавший по снегу в волчьи болота.

Зима была задачливая для медвежатника Тита. Взял он стервятника на речке Леже, в Соколянках — видать Овинцы от берлоги — взял он двух овсяников на прошлогоднем месте под самым Трифоном. Митька трое суток не ходил в школу: ездил с отцом на Попадье — так звали старую лошадь — за мохначами.

В последний раз ездили, заплакал Митька на собачку, — медвежатницу Кучумку: разорвал ее стервятник. Отец рукавицей размазал у него слезы по лицу, зажал нос и наклонился ласково:

— И чево ты, дурашка, плачешь? Гляди, добыча кака?

Кучумка лежал невядалеке от медведя с отвороченной на спину головой, протянул ножки и поджал замерзший палкой хвост. Митька, плача, обметал с Кучумки снег. Отец, привязывая к сосне наострившую уши Попадью, спросил:

— Зарывать штоль станешь?

— Не, не,—вдруг крикнул Митька и пнул тушу медведя.

Отец засмеялся:

— Так его, так его, Митька! Не то Кучумку, не то и отца завернул бы на тот свет Потапыч. Ну, охорашивайся да за дело! Погожу малость: проплакивайся!

— Тятка, Кучумку домой повезем,—тянул Митька.— Я ево похороню за овином на горбыльке. Там сухо. Песок. Он и не сгниет долго.

— Ну к што, домой так домой: клади. На горбыльке хорошо...

Был Тит широк и дороден, как старая ветла. Весело взвалил он косолапого на дровни. Кучумку Митька положил рядом. Отец облокотился на костоправа, а сын нежно гладил Кучумку.

Поехали. Попадья, приобькнув к косматому, неспеша тянула дровни старыми следами. Проваливаясь до брюха, останавливалась и, передохнув, натуживалась и выволакивала кладь. Тит задумался, поглядывая на горевшие снежинками елки, на бронзовевший соснячок и прислушивался, как позади сын что-то ласково бормотал над мертвой собакой. А потом, не оборачиваясь, выправляя вожжи из-под хвоста Попадьи, сам себе пробурчал:

— Э-э-х! И... собака была умница!

Митька поднял голову и грустно спросил:

— На каком, тятка, попалась?

— На девяносто девятом. До нее Орлик был да Мальчик да Свистунья, а потом Кучумка.

— Я вот вырасту, тоже на медведей пойду.

— Дело, дело.

Отец подумал, покурил, пыхнул на хвост Попадье, хлестнувшей его по лицу, и бурчал дальше:

— Лесново архимандрита бить следоват. Не мы ево, он нас: поля там, малину, скот... И человечину куснет с голодухи. Медведи ручные живут, все ничево, а по-пробует он мяса, чево мясо, например, голубь, голубятины попробует,— вот и кончено. Заревет, глаза красные: в лес надо. Четвертую собаку кончает. Кучумка — четвертая. Михайло Иванович — сурьезный барин!

Сын сердито уставился в круглый пушистый зад медведю, а отец вдруг рассердился:

— А и ему жить хочется. Кучумка мне ево прямо на рогатину посадил. И... нечево тут... Нашелся, подумаешь, медвежатник: пискарей ловить! Медведь — зверь проворной. Увалень, говорят! Говорят, кто медвежьей смерти не видал. Тихо да криво бегают Топтыгин! Да, он те так побежит, по шнурочку, как колесо подкатится. Глазки у нево хитрые, злые, видят тебя насквозь. Через медведя рогатина лезет, а через тебя две рога-тины — глазки лесные его. Охотник сыскался! Помалкивай у меня, а то я, тя валежиной!

Митька искоса зло поглядывал на отца, щипал медведя, выдергивал из заду стоячие холодные волосинки. Тит молча стихал на сына, помолчал от оврага до оврага и подобрел.

— Нет, Митя, не надо тебе иттить в медвежатники. Вот и я живу, будто не нарошно, на свете. Ходи для разглуски за утицей, там ты — сила. Под медведем не пролежишь долго: он тя умоет! Медведь — хозяин в бору, а мы на нево воры и разбойники. Дело с ним опасное, грузное!

В ту зиму приезжали к Титу охотники из Москвы. Подняли двух медведей и волчью стаю. После охоты

закоченевших бирюков долго уставляли у берлоги, вкапывали в снег — и снимали. Снимали с Титом и Митькой. Потом Тит всовывал в мертвый прокол космачу рогатину — и опять снимали. Долго щелкали машинкой на трех ножках и снимали московских охотников у медведя, на медведе, под медведем. Тит не глядел на московских гостей, прятал глаза под густыми медвежьими бровями, а Митька, задыхаясь, шептал отцу:

— Это пошто же, тятка, сымают?

— Для комеди. Для показу главному начальству.

— Так и в ненастоящую это, тятка!

— По ним ладно!

Невесело проводил Тит московских охотников и лежал, охая, на печи. Был ему перст на охоте: на тридцатом году медвежьей охоты дало исправное ружье осечку. Убегая в лес, космач будто взглянул на него приметно и зорко, и заревел каким-то таким неслышанным раньше голосом. Были и другие приметы.

Стояла в марте полная зима, лежал снег невиданной толщины. Во всю зиму подкладывали метели снег аршинами, утопывали его мокрые едучие туманы, прохлаждали ветра, ровняли места, низкие, места высокие, покуда не растянулся он толстой и сдобной белой землей. Казалось, нехватит у солнца жара растопить белые горы. А на пятые сутки снега не осталось. Тут инде белые плешины не долго задержались в крутых межах. Была земля, как черная корова с белыми пятнышками на брюхе, на бочках, между рогов. Лёжа пошла поллой водой от Трифона. Снесло село Ловцы за Овинцами с кривого берега. Наклонило защитные черные ветлы у села, обмяло и выкорчевало с землей одной краюхой. Размякла краюха, наплыла на село и поволокла за собой овины, амбары, избы, хлева со ско-

тиной и живностью. В захлебнувшуюся старую плотину на Пундуге, будто всплыли где-то гробницы на кладбище, вынесло неудержимо белый лед, и пошел он поперек полей весенними незаказанными дорогами. Вода подступила к Овинцам и не могла подняться на гору. В лесах у Трифона - на - Корешках, на Обноре, на Бушуихе, на Углицком растрепало трехгодовалые лесные заготовки и закрутило раншевременным модем в речном горле, повыкидало на пустоши, на просеки, к безводным деревьям и погостам. Не стали собирать дорогой лес, как схлынул паводок к летним отметинам берегов, багрили его в Овинцах, на Рабанге, на Комеле, прикатывали к дворам, пилили ночами на чурки, подкладывали в костры к старым срубам. Мимо Овинцев на льдинах катили сидячие собаки, зайцы, бабы с бельишком, несло по воде дохлых коров, лошадей, овец,— и сам Михайло Иванович - ревун попал в беду. Подняло его, как на плоте, на горелом лесе, на высокой и цепкой лесной навали — и закачало и заплескало в мутном крутне. Прибывало к берегу коров и лошадей, выламывали рога и отталкивали, снимали уздечки, окунывали, смеясь, круглые боченочки баранов и ярушек. Паляли по медведю, а Мишка ревел, пригибал голову, зажимал притчатый нос и как бы грозил Овинцам мокрой лапой. Кричали бабы со льдин, бегали по берегу Овинца сухопутные бабы, а водяных баб пронесло, укачивало, забрызгивало...

Тит глядел на ломыгу и зяб в полушубке. Будто тот был медведь на льдине, что поглядел на него приметно в лесу и несло его будто нарочно теперь под Овинцами. Приложился медвежатник, смерял долину серой мерой глаз — и пуля прокривила над паводком. Лесной чорт только переступил на месте с ноги на ногу — и отвернулся от Тита.

Митька хоронил вытаевшего Кучумку в тот день на горбыльке. Отец сидел на старом пне около и сумрачно глядел на исхудавшую собачью морду.

На пятой неделе приехали к Титу опять охотники из Москвы. Ходили на глухарей и тетеревов. Заприметили в ночи на соснах черные кучки глухарей, замерли, чтоб не хрустнуть в валежнике, не дохнуть, не чихнуть... В забрезжившем свету, будто пошла в темноте какая-то муть, вдруг Тит шепнул, тихо шарашась назад:

— Медвежата... медвежата... медведица... пестун...

Не попадая зуб на зуб, уходили... Тихонько переступая, стояли тихими ночными деревьями, будто слышали шорох и шелест в муравьиных кучах. Когда выбрались к недалекой полянке и побежали топоча напрямиком на опушку, медвежата были явственно видны. Тит, отбежав, разрядил ружье, шарahnув в чашу. Громыкнули за Титом другие охотники. Где-то взревел зверь, и по лесу затрещало, загоготало, заломало бегущие сучья и ветки. Медвежата весело карабкались по стволам, то выходя на самую крону и покачиваясь, то прячась в игольчатом шатре.

Тяжело сказал Тит:

— Дешево отделались. Вот те и глухари! Чудит, право! Беспременно тут была медведица. И пестун — хорошо. Ребра ломать мастер. Нет, скажи на милость, куда лешой занес.

Тит грузно и весело засмеялся.

— А я говорю, — заплетаясь, бормотал московский охотник, — мы очень неосмотрительны. Это вы, Тит? Разве можно в медвежьем месте выходить на охоту с мелкой дробью, без пуль, без картечи! Такая неосторожность, такая неосторожность!

Сидя на опушке, охотники тревожно озирались на выходящую из темноты лохматую и низкую чашу. Они

держали ружья на коленях, словно поджидали, чтобы поднять ружья и обороняться.

Тит резко и громко говорил:

— Услышь нас медведица, не уйти бы живыми. Видно, не судьба. Один маленький хрусточек попади ей в мохнатые уши — пошло бы дельце. Медвежата кувырк — и к нам. Они, дьяволы, всегда бегут к человеку. Игруны, стервы, не дай бог! Медведице боле ничего и не надо. Ружья наши для щекотки как раз... Одново пестун, другово сама... И под себя...

Тит сбросил картуз, вытер лоб и растерянно добавил:

— Мокрой, как искупался... напуганной... И год ноне всем годам год. На особицу. Зима — пять зим сразу. Воды — море непроливанное. Сыч, у нас старик кривой в Овинцах, позабыл, при каком царе сперва жил, при каком опосля — не помнит такой воды. А и речка-то в обшарашку поместится. Все одно к одному. Медведь норовит под глухаря, ружья не стреляют, медвежатники бегут от медвежат! Чудно! Чудно!

Пошли вяло и скучно к Овинцам, закурившим ранние печки.

Погодя с неделю драл Тит с Митькой лыки в Обнорском лесу. Остались в ночную, чтобы захватить утро. Закострили. Раздулось огня стог. Сидели, жевали, глядели на жадный огонь. Вдруг из чащинки кто-то бросил сук. Тит взгляделся. Опять кто-то кинул уже большой березовой губой. Губа упала в огонь и откачнула пламя в сторону.

— Не напугаешь, — весело сказал Тит, — кто там, выходи! Овинские?

Никто не ответил, но внезапно, грохоча по стволам, пролетел стороной обгорелый рогатый пень.

— А, — нахмурился Тит, — хозяин. Вот кто игру почал!

— Тятка, беда! — побелел Митька и прижался к земле.

Отец сразу закричал часто и гулко:

— Ай! Ай! Ай! Ай! Ай!

Вслед, будто рывкнула роща, будто сорвалась вся она с места и помчалась, гремя деревянными ногами по земле.

— Ту! Ту! Ту! Ту! Ту! — кричал отец.

Митька повеселел и зазвенел ошалелым голосенком:

— Сóли! Сóли! Сóли! Сóли! Сóли! Сóли!

Медведь уносился, обрушивая за собою сучья, пеньки, хлеща ветками и часто-часто-часто топоча в ночи. Эхо ворвалось в чащи, побежало, заухало, вся Обнора загудела диким ревом, тысячи стволов, оглушая и надвигаясь, пошевелились во мгле.

Митька все еще кричал, а отец, глядя ему в рот, хохотал. Наконец, Митька устал — и голос сорвался. Так по вечерам пастухи созывали в Овинцах коров с выгона. Коровы подымали большие морды на крик, жалобно мычали, блеяли овцы — и стадо собиралось к прогону, пыля и мотая хвостами от оводов.

Отец утер мокрые от смеха глаза, прислушался, прилав ухом к земле, и встал. Выждав немного, Тит серьезно сказал Митьке:

— Помирать пошел. Теперь за ним по лесу красная строчка. Кровью изойдет.

— Уследить бы за ним, тятка! Нажива без трудов! Подохнет, Попадью в закладку — и вывози.

— Уследишь его! Он, может, за сорок верст ускачет! Места́ ему познакомее нас с тобой. Сто верст лесу у Трифона с гаком. В зыбунах сгинет. Из сил выбьется, ляжет — его и затанет в водяное оконце. Кульк, кульк, кульк! Трава над ним встанет обманчивая зеленой шерсткой — и все тут.

Отец подкинул в костер хворосту и что-то обдумывал, поглядывая искоса на сына.

— Не с того боку зашел,—протяжно и тихо выговаривал Тит,—из-за огня нас не видно. На огонь вышел. Увидай нас раньше, может, повернул бы напрямик сюда. Крику боится медведь, ежели ты крикнешь раньше, до того, как в тебя упрется глазищами. Ежели он тебя раньше узрел — ложись на землю молчком и не дыши. Он тебя обнюхает, по роже тебе надаст, наплюет на тебя, по земле выкатает... Захлебни слюну и не ворошись. Походит, походит вокруг тебя бирюк, притаится за деревом, ровно ушел; пережди, помни, обманывает. Ты его, он тебя. Не выдашь себя — он и почнет обкладывать тебя листьям, ветками, валежиной, приволокет пенек... Тяжеленько, может, придется, а терпи. А то жизни решишься. Как захрустит в лесу, значит, пошел. Лежи, не вставай. Пусть и долго покажется, а лежи. Начнешь уставать по-настоящему, разломит всего, — тихонько оглянись из-под дряни — и вставай.

Отец прервал и вслушался в темноту, приставляя ладонь к уху.

— Идет сюда, тятка? — зашептал Митька.

Вдали за Лежей вскрикнули совы и неся оттуда унылый придавленный стон.

— Нет. Трещит будто с версту отсюда... А, может, и не трещит. Это не ты ногой наступил на сучок?

Отец вытянулся на цыпочках и слушал.

— Идет, идет, идет, — зашептал сын, — я слышу. Кто-то идет, тятка!

— Идет не идет, а на печке в избе куда поваднее, парень, — спокойно проворчал отец. — Надо кострину позатоптать: неровно спалим лес.

Тит разворошил костер пошире, Митька покидал напасенный хворост в стороны и нагрузил себе на спину маленькую вязанку лык.

Приглядевшись к темноте, пошли крепко и верно знакомыми тропками, порубками, просветами, полянами. Отец нес на спине воз лык и подталкивал Митьку. Шли скоро, срезая лишние загибулины дороги.

— Был я, Митя, в солдатах, — рассказывал отец. — Городок такой в Калужской губернии есть. В конвойной команде служил. Завели ребята медвежонка. Подобрали в лесу. Выпестовали. На кухне жил. Как собака ходил за нам. Проворной такой. Честь фельдфебелю отдавал. В кабак приведем, к стойке шась — и стакан берет в лапу, чокается, нечистая сила. Умора! Ребята от смеху шатаются из стороны в сторону — и он шатается. Ребята плясать — и он не отстанет. А то пойдем на базар. Молока охота, а денег нет. Покажешь перстом на кринку, бабы, какая торгует — почем де! И дальше. Нарошно делали. Мишка наш берет кринку в лапу, на задние лапы — и несет за нам. Шум, смех. Баба вдогонку кричит, бранится, чернит нас, кастит... Космач так нехотя оборотится, поставит кринку на землю — и на бабку. Та, конечно, бежать. Здорово живешь, кринку и унесем. Извели под конец. Завел чужак у начальника кур да гусей воровать. Плакали, а пристрелили. Когда привязывали к заборчику, понял, поднялся к нам грудью, закрыл лапой нос — самое слабое место у медведя, под рогатиной бережет, заревел, слезы из глаз катятся...

Тит вздохнул и переложил веревку с ношей на другое плечо. Горько, жальчиво добавил:

— Не добыча бы да не озорничай он над деревенскими, не пошто бы и бить его. Заня-я-тной зверь, заня-я-т-но-й!

Занемог Тит с начала лета, лежал на полатах и не мог найти себе места. Поворачивался он с боку на бок, подгибал то одну, то другую ногу, посидит и ляжет, полежит и посидит, встанет на четвереньки, подымет

голову руками с изголовья и держит на весу. Терла баба до надсады спину вином, тополевой примочкой, сметанкой с серой, подвязывали под мышки куриные яйца, подсушить немочь, клала на тряпку к затылку коровий навоз — кровь разогнать по кишкам — Тит маялся. Верил медвежатник — был перст ему в медвежьем взгляде. Обещался не ходить на медведей, когда занывала с перегибом спина, и будто заунывный звон, звенело в голове, дергало в ногах кости, лопались под наколенными чашечками больные пузырьки. Таскали его в баню, калили до-красна каменку, хлестали там вениками до голого прута в руках, — плакал и выл Тит. Потчевала баба медвежатника на ночь после баньки малиной, выпивал Тит самовар — и засыпал. Ненадолго легчало, а потом опять корчился и так и этак. Возили на Попадье через Соколянский сосновый бор к Трифону селу в больницу — и привезли обратно с мазями, с бутылочками, с баночками. Приходил Сыч, шамкал заговор „заря заряница красная девица“ и громко сказал, сидя под черными иконами:

— Натрудил спину на медведях, Тит. Свое кости возьмут. Отболят долго ли, коротко ли, отболят. Охоч до медведей был. А зверь, всякий зверь — божья тварь. Вот у святых-то медведи — первый друг. Медведь у святых в услужении, а мы, грешные, медведя на рогатину. Не иначе тебе господь-бог и зачитывает за медведей.

— Не иначе, — прошептал Тит. — Спасибо, дедко, научил.

Волоча валенки по пыльной дороге к своей избе, бормотал Сыч:

— Как своему деревенскому не помочь?

Летом одолели Овинец медведи и волки. Драли коров, лошадей, овец. Прибежала в деревню корова с пе-

стуном на спине. Убили всей деревней и корову и вожакого на ней. Стадо ходило с ободранными задами. Прибежал бык с вырванным ребром, ухватил его чертушко, не удержал, вырвал на заметку ребро. Задрал медведь корову и у Тита. Нашли Пеструху в чашине на Леже под ободранной у комля сосной.

— Занедужился некстати,— ворчала баба,— и пострелять в деревне некому. Не мужики — бабы...

И заплакала по Пеструхе.

— Она, родименькая, лежит под деревом. Не успел, окаянный, нажраться, хребет перешиб, лапища вонзил в бочка...

— Он так завсегда,— гнусел Тит,— вскочит корове на спину, корова бежать, а бирюк висит, будто черной хвост на задних ногах. Он норовит задним лапам ухватиться за дерево какое. На ровном месте другая сильная корова на двор его и притащит. А ухватится за дерево — тут корове и смерть. Пеструха, так, сердяга, и попала. Сосна сгубила коровенку.

Не унималась баба:

— Обдирать начал, что те мясник хороший: чисто начисто. Лафтаки кожи на спине содрал. Наказанье за наказаньем пошло. Опять-таки овес на наших полосах сосет и сосет, проклятуший. И подловить некому, — и прикончить некому.

Тит опускал ноги с палатей, хотел встать — и не мог.

Медведи обсасывали на полосах один загон за другим. Ночами сторожили мужики, жгли костры, паляли — и не услеживали. Будто ползком пробирались медведи в овсы и укрывались в глухих бороздах.

В Ильин день по утру вдруг вбежал в избу с улицы Митька и закричал во все горло:

— Тятка! Тятка! Вставай, я медведя убил!

В руках у него было старое одноствольное ружье.

— В овсах! Наповал! Я подкрался к нему. Вижу — сосет. Я его камешком. Полный карман сперва нагрузил на дороге. Камешком да землей. Он сосет, а я его дразню. Увидал, пофыркал — и побежал на меня. За два шага и встал на задние лапы. Я ему ка-а-к ляпну в глаз, он на бок, дрыг, дрыг и — все тут. Вó. Здорово? За Кучумку да за Пеструху!

Отец, как вбежал Митька, вскочил и застонал. Будто, погода, прошла вся немочь. Он тихонько слез с полатей, добрался до Митьки, вцепился в волосы и дернул. Мать с испугу замерла посередь избы и остолбенело глазела, как таскал за волосы отец сына, и Митька кричал на Тита, жалобно плакал и вывертывался. Он уронил ружье на пол — и они оба запинаясь об него. Отец обессилел и, задыхаясь и закашливаясь, оперся на стол и присел с уголка.

Тут закричала мать:

— Мазура ты, мазура! Да и как жив-то ты остался, отчаянна головушка!

Мать ужаснулась, всплеснула руками и взвыла, наступая на сына:

— Бей его, бей еще, отец! Мало ему! Надо, штоб слезы по заднему месту потекли. Какие страсти, какие страсти — убил медведя! На волосок от смерти был!

Мать закрыла лицо руками и села рядом с Титом. Митька виновато прижался к устью печки и глядел на сажу, прошившую меж кирпичами рубцы и трещины черными глянцевитыми протекami.

Митька, убив медведя, бежал по деревне и кричал выходившим к колодцам бабам, мужикам на бревнах, ребятам... Ребята побежали первые в поле. Скоро двинулись все Овинцы. На полосе лежал овсяник с кривым красным глазом и сцепившимися лапами. Ходила по полосе мать с Митькой, качала головой, совала ему

в загривок, а он припадал на колено, кидал камни, наклонялся, поднимался на цыпочки — и все показывал-показывал, как положил медведя.

Потом выехала в поле Попадья. Помогали ребятишки, споря за места, наваливать медведя на навозницу, мужики гнали их, они подлезали под ноги, под руки, держались за черствую шерсть.

Митька повозничал, везя овсяника. Он, насвистывая и нóкая, важно стал в челе навозницы, дергал зря вожжами. Ребята бежали сзади, спереди, с боков, заглядывая на медведя.

Отец, желтый и худой, высунулся из окошка. Митька подкатил близко к избе, тпрукнул Попадью и, осмелев, крикнул:

— Гляди, тятя, совсем настоящий медведь! Овсяник!

— Ноготочки - то, ноготочки-то! — шумела детвора, вспорхая воробьиной стаей на навозницу.

Народ шарил лохмача, хлопали Митьку по спине, шутливо брали его за ухо, бабы охали и корили за озорство. Отец молча прикинул глазами медвежий вес и болезненно просмеялся.

Торжествуя, воскликнул Митька:

— А еще отдул! О, стрельба!

Старый Сыч положил Митьке на голову руку и прощамкал черным и втянутым в щеки-складочки ртом:

— Не сподручно бабе с медведем бороться, того гляди юбка раздерется. Тит, вицей ты его, разуважь за милую душу. От таких охотников матерей-сирот не оберешься!

Ходили ребята украдчи ночью с ружьями в овсяное поле, искали их отцы и вели с подзатыльниками домой. С тех пор запирали в Овинцах ружья по сундукам от медвежатной челяди.

Тит походил день-другой по избе, вышел опнутья на крылечке — и снова занемог. Стрельнуло в спину от

Митькина удалства, будто болезнь переломилась на-
двое и пошла наизбыть, а не надолго. Пуще заломило
в груди: подкатило такой сухой шар замазки под ло-
жечку — и сперло дыхание. Охал Тит на полатах, взвы-
вал прострельным голосом, подолгу слезал за нуждой.

Забыли в Овинцах думать про Митькина овсяника;
находила работа на работу, торопились вычерпать яс-
ные дни, роптали на темную куделю облаков, поро-
шившую небо на закате. Мать пропадала в поле. Митька
забегал проведать отца, хватал со столешницы кусок —
и опять на улицу, в гуменники, в поля, в луга, на
речку, по грибы.

Тит злобился.

— Чево снуешь? Подь, помоги матери да девкам. Хлеб
жрешь, небось. Четырнадцать годов парню, а бегаёт,
будто пузо голое. От, ужо встану!

Митька хлопал дверями и стремглав выскакивал из
избы. Отец недовольно бормотал вслед:

— Ускакал! Маленькой, а понимает: не догнать, ле-
жучи!

Изда молчала, затаиваясь тишиной.

Звериная напасть свалилась на баб.

Ходили бабы за малиной, отбилась от артели девка
на-выданье и наткнулась на малинника. Подмял, исхо-
дил всю лапами, изжамкал, прочернела... Ухватил он
ее за косу и содрал кожу с головы на грудь, будто девка
накрылась красным платочком, износу ему не будет.

Собрались в воскресенье и стар и млад в Овинцах
с ружьями, с кольями, со сковородками, с самоварными
крышками, загремели, завопили, заорали, отгоняя зверя
от полей, от хожалых мест. Прошли лесом пять пере-
катов до зыбунов. Будто отбежал в глушину зверь.

Плакали в Овинцах, хороня девку. А на другой день
пошли бабы в те же малинники: ~~сходили~~ ^{сходили} чюда. На

утро пастухи в лошадке видели космача. Шел он тихонько за полями и оглядывался на стадо.

Вдруг Митька пропал... Не пришел день, не пришел полдня. Хватились в ночном. Ребята пригнали коней: Митьки не было. Нашла мать отпертой сундук с ружьем — и заголосила. Тит полез с полатей. Кинулись в поля и нашли.

В густом зеленом овсе лежал мертвый овсяник на боку, а под лапами, тесно прижатый к мохнатому брюху прильнул в лохмотьях Митька. Схватил его медведь за спину, вклепился когтями — и заглох. Упала мать и уткнулась головой в землю. Завыли сестры. А мужики закричали:

— Теплой! Теплой! Жив!

Мужики начали бережно отгибать медвежьи лапы. Митьку вынули и отнесли на зеленую заросшую межу. Митька слабо дышал. Поперек головы по мелким волосенкам запеклись три красных густых рубца, кожа со лба отвалилась рванью на нос и слиплась, отмахнулась чужая рука в плече и подогнулась нога угольником на другую ногу. Отцовское ружье валялось под медведем. Пониже соска у медведя торчал красной головкой немецкий штык, вынесенный отцом из-под Двинска.

Очувствовалась мать, пригнали Попадью из Овинцев — и на постелях, на подушках, уложенных на днище телеги, Митьку повезли к Трифону-на-Корешках в больницу.

Подвезли Митьку к своей избе. Тит прихромал к телеге, дрожа отвернул одеяло и поглядел на сына. Поглядел, молча взял свое ружье, обтер штык о сено, отвернулся и махнул рукой.

Заливаясь слезами, трогая Попадью, мать крикнула горько и жалобно:

— Девки, отец-то не может, уберите медведя. Шкура-то пропадает в тепле. Новой изъян.

— Уберем, седня же,— ответил скрипуче Тит и сердито добавил, напрягая голос. — Не тряси больно парня-то в кальях — придерживай телегу. От ему не сладко...

Провожали Митьку Овинцы до отвода. Нашлись охотники-ребята — побежали за телегой до Трифона. Верховой, митькин дядя, поскакал вперед в больницу с известием.

Везла телегу Попадья овсами ровно, легко, глядя себе под копыта, обходя кальи и выбоины.

На другое лето Митька поправился. Пришел в Овинцы с измордованным лицом, на деревяжке, пролегли головой три белых шнура — медвежьи знаки — погорбился и косил плечом.

Давно подтянулся, отдохнул Тит от медвежьего промыслу, выпрямился на полатах, будто раздался в плечах, осилил натугу — и в зиму пошел шарить берлоги по исхоженным чащам и овражинам.

Митька, стуча деревяжкой о дровни, вывозил медведей.

БОРКИ И ОВРАЖКИ

Занывали ночью у Ольги зубы: то брюхатела она от нелюбимого мужа. Была она прежде высока и полногруда, как молодой тополек, кужлявый от дождя.

Было у отца тринадцать дочерей - погодков. Торговал он на толчке огурцами, капустой и мелкой снедью. Торговал с утра до ночи, бился в гнилом и сыром от снеди ларчике — и не мог одеть дочерей.

Покупал у него огурцы на артель колодезник — колodцы рыл по дворам — Тимоша Онуча и посватал Ольгу за сына. Был Нил мал и широкоплеч, крут у него был затылок бобриком, будто разорвал ему кто-то рот по ошибке, и глядели из-под медведей-бровей воробьями малые серые глаза. Привез показать Нила Онуча из медвежьей своей стороны от Трифона - на - Корешках из малого городца Борки в город Овражки — и выставил товар лицом. Заплакала Ольга за яблонью на своем дворе, вздыхал огуречник, просил Онуча невесту неотвязно, прилипчиво. И дело сладили.

Целовал за столом молодой князь молодую жену, полол алые черствые губки усами, глядело двенадцать сестер, не поднимал глаз от полу молодой.

В городе Борках у Тимоши Онучи были три окошка в задней избе, три окошка в передней избе, деревянные перегородочки за-печкой, насупротив печки, а промеж изб — холодные сенцы. Отвели молодых в перед-

нюю избу: тут и жить им. Села Ольга на постель и заплакала. Нил сел к окошку и задумался. Первую ночь так и скоротали чужими. Прилегла Ольга на краешек постели в подвенечном платье и заснула.

Били горшки рано по утру у дверей. Вскочила Ольга, а Нил растянулся на полу на пестрой „монастырской“ дорожке, в головах полушубок лежит — и не слышит. Подняла его Ольга, встряхнула подвенечное платье, расправила оборочки. Нил пиджак натянул, полушубок убрал — и молодые рука об руку пошли к двери.

Был кроток и ласков Нил. Ела поедом свекровь Ольгу, поливала Нила бранным словом, будто осенний наседливый дождь. Жили молодые за ситцевыми занавесками горошком, за пунцовыми сережками у гераней, стряпала Ольга у печки, сряжала мужа на работу, молчала, молчал и Нил, спали они в разных углах и не сходились.

Затяжелела Ольга первенцем на пятое лето. И заныли, заныли сперва коренные зубы у Ольги, а потом пристали к ним глазные, зуб мудрости. Ходила Ольга по избе, зажимала рот крепкой рукой, кидалась глазами по стенкам, будто искала большой несворотимый гвоздь, а из глаз текли густые теплые слезы и мочили горевший пушок щек. Ныли зубы до четвертого месяца. Нил не казался на глаза жене, только молча садился под окошками на лавочку, прислушивался к бегущим шагам жены над головой и вздыхал. И не было сил унять зубную боль. Полногрудой Ольги не стало. Груды подсохли. И легла на щеки желтая пыльца бабочками-крапивницами.

Нил был машинистом на железной дороге. Водил он тяжелые товарные поезда от Овражек в Борки, от Борков в Овражки. Качало его на путях, как лодку на зыби, вглядывался он осенними дождливыми мглами

вперед, знобил лицо под метельной зимней метлой — и хлестала она по глазам, раскрывала грудь, свистела, продувая железо и сталь паровоза, и была бедой. Был молчалив, как Трифоновский бор, Нил. И посылали его зато с поездами ночными, бессонными, поднимали сторожа в самую сонную сласть. Вел он поезда ночные, сборные... Перегоняли его щеголи почтовые, скорые, курьерские, перегоняли соломоны, перегоняли максимы... Держали его на разъездах, на станушках, в карьерах, на запасных путях часами, днями, сутками...

Не любила Ольга мужа и на десятый год. Висели на отце ребята, не сводили глаз с косматых усов, таскали ему в дорожную сумку подорожное — хлеб, огурцы, долгоперый лук. На Навозной улице не было скромнее и тише Нила. И не было любимее сына у Тимоши Онучи. Ела мать поедом Онучу, ела Нила, ела Ольгу. Бывают такие березовые кряжи — отскакивает топор, звенит и гнется пила, не берет колун: то Матрена Онучи. Напугалась Ольга задней избы и век прожила напуганной. Только пуще того напугала сама Нила неприступным взглядом, спал с ней вором в большие праздники, не перечил рывку словом, опускал глаза, как несла мимо гостям пироги. Веселела Ольга, сряжаячи в путь мужа. Слышала — тихонько закрывал калитку машинист, топал по дороге, кашлял: морщила немилوکровому брови.

Сборные поезда, будто стогодовалые старики, ползли от перегона до перегона, стояли на малых и больших остановках, перегоняли их с одного пути на другой путь, отцепляли, крошили, перекидывали с головы в конец вагоны, из конца в середину, отводили одни составы, прибавляли другие. Нил гудел в свисток и гонял туда-сюда черного коротколапого зверя. Напивалась бригада в доску — цедили спирт через соломинку на перегрузах в рот — дрыхли на тендере, под дро-

вами — Нил вел один поезда. Добирался поезд до города Овражки на четвертые сутки, выкидывали паровоз в депо на отдых: отдыхал машинист.

Была каморка в Овражках на станции, черная изба от прокура, от машинного масла, от паровозной сажи, от дорожной пыли. Дождался Нил своего коня, покуда он проскачет с другим хозяином Трифоновскими борами до другого городка и прибежит обратно потный и мокрый с оскаленными красными зубами. В каморке свертывался Нил в углу на лавке, под головой корзинка с пожитками, подкладывал черную лапу под лосную черную щеку и раскрывал большой рот. В каморке резались за столом в карты, доставали из корзинок водку, наливали под столом, чокались чайными стаканами, кричали, орали, дымили табаком, будто неугасимо трещал мохнатый валежник в каморке и клубил под потолком. Скучно дожидаться своих коней машинистам, кочегарам, помощникам. Слегали, где сидели, черствые лавки толкали в бока, лениво подымались — и коротали тоску водкой, картами, спорами. Пели песни в каморке, как скоро завеселит с водки от устатку, а Нил спал: убаюкали сборные ночные поезда.

Не часто ходил Нил к тестю-огуречнику: стеснительный был машинист. Глядели на него пятеро сестер, других развезли мужья по медвежьим городкам, огуречник угощал, наваливал в дорогу сырые подарки, а у самого последнее, нищее, со своего стола.

— Убогая! Убогая! — кричала свекровь на Ольгу. — Мозоль насидишь на славнухе! Чево-от корова-то недоена? Модёна! Причесы не для ково теперь выдумывать! От у тебя водолаз-то придет — и красуйся! Сена дай. Воду-то подогрела? Каша-то есть у куриц? Хлев-то у свиньи убран? Пошила бы, пошила бы ребятам рубахи!..

Ольга была безропотная. Родились такие в Борках и Овражках бабы — на хребте свекровь висит, погоняет, тянет хоботком кровь с розовых щек, ужимает грудь, тушит глаза. Помирали Матрены — и провожали их на погост снохи, тая под черными платками веселье в заплаканных глазах. И долго пекли праздничные пироги: не уставали поминать лихом. Ольга молча, непричесанная шла в хлев, в сараюшку, в сеновал... А свекровь снова кричала:

— Эй, золотая ступень, поищи ж в голове! Исчесалась я вся...

Солнце выглядывало из-под нахлобученной застрехи в малые оконца. Лежала на полу на солнечном зайчике кошка. Свекровь опускала старую голову на колени к Ольге, — и та на солнце перебирала серые волосы ножом.

— На потылице - то, на потылице поскреби, — скрипела свекровь. — У, неprovорная! Рядком, рядом пройди!

И она тыкала пальцем сквозь редкие космы в затылок.

— Нож-от покривее, покривее правь. Руки-то неласковые, шершавые у тебя, снохонька! У! Этово не умеешь! Учись, учись, матушка, сама свекровью будешь, тебе поищут снохи...

Ольга затаивала дыханье, и руки у ней бежали, искали, торопились...

— Гляди, — ворчала сердито в коленях старуха и держала пуговицу на кофточке у Ольги, — пуговицы у тебя висят. Будто спина сломится пришить! За собой поухаживать некогда. Укатится пуговица в щель — добринки одной в хозяйстве и нет. Муж-от этак не работается на транжирку такую. Хорошо за чужим кормом расходоваться. Мы прежде жили с отцом: тряпок на улице подымешь аль булавку — и в дом. Из дома

только негодящее да и то на огород. Морковь растет на человечесьем навозе ровно брюква. То-ол-стая. Ботва-то што полынь высокая. Учитесь от старых людей: они научат добру. Я об Нила кокотышки обколотила: бережливый парень и вырос. На себя трех копеек не выкинет. В Овражке у вас другой народ: моты. Нилу-то нашему такую ли в любом месте жену дали б, да мой Онуча больно тебя нахвалил за скромность. Ты отца-то и благодари. В дом-от попала не в каковский-нибудь! Мужики степенные да тихие, да не пьяницы и мотыги. Не бивал тебя Нил, не колачивал, в нужде у тебя живет... Думаешь, не вижу, хитреющая! За сына бы не грех пристать. Как это так под бабой жить? Да... я не попрекаю. Смирной он, теля, а не настоящий мужик. В Онучу. Худа нет: Онуча у меня весь век в послушаньи жил. Видно и Нилу такая судьба. Хе-хе-хе! мы с тобой выходит—мужики! Хе-хе-хе! Кумпалок - от поскреби, поскреби, дюжее. Туды, туды убежала! От слышу, как бежит, подлюга! Ты на перехват, на перехват ее!

Тяжелой походкой нес Нил, будто железную бабу в сорок пудов, черный свой корпус.

— Большоротой!—вопила мать.— С каких-от пор калитку не затворяешь? На распашку живешь! Жену украдут. Слижут сметану прохожие молодцы!

— Бабка жилы тянет! Бабка жилы тянет! — смеялась внучка, вспоминая, как говорит мать.

Ольга испуганно грозила дочке и зажимала ей фартуком рот.

Старуха бормотала в сенцах, шлепая босыми ногами: — Жизни не знают! Жизни не знают!

Гостила Ольга у отца в Овражках раз в год, помогала ему торговать в ларьке, обшивала сестер, плакала с матерью на отцовскую бедность.

— А сама ты? Все хорошо да хорошо живешь,—шептала мать на ухо дочери,—а какой уж хорошо! Наслышаны мы про свекровушку. Согрешил батько, не одумался, не осмотрелся. Волосы он на себе дерет. Гляди, как извелась: где личико-то, мотри, кожа да кости? Омманул Онуча, такой хороший мужик! Глаз теперь не кажется. Оттого в Овражках и сватали, што в Борках невесты в голос, как сватов Онуча зашлет.

Ольга через силу смеялась.

— Знаю, знаю,—вздыхала мать,—ты не скажешь, отца бережешь. Будто пелену ему на глаза надернули тогда.

И торжественно, задыхаясь, сердясь, мать говорила дальше:

— Отец хорошего тебе желал. Мужик Онуча больно хорош, Нил-то неказистый, а голубь. Душа-то у него из душ душа. Редкостный по душе человек. Мы вот с отцом-то без любви тоже жить начали. А што получилось: не хуже других прожили. Я так жила, как царю кума. Нил-то в отца. У матери его характер несвотимой...

Кружил огуречник вокруг Ольги, наговориться не мог, глядел на нее пристальными, жальчивыми глазами. Ребятишки от дедушки ни на шаг: луки им делал, стрелы, домики — все для Ольги.

— Ты его наставь,—учила мать, провожая Ольгу в Борки,—от отца отделиться. Зла-то и будет меньше.

Ольга махала рукой и безнадежно глядела перед собой, будто не было на свете отцовских Овражков, а в Борках молчали дома, улицы, небо, молчала она, Ольга, как по обету.

— Да не может он напротив матери дыхнуть! — зло и враждебно поднималась Ольга голосом. — Где ему? И я не могу. И я заклеванная. Старуха две улицы одна обидит.

Ольга вдруг останавливалась, вглядывалась в отчаянное лицо матери, раскрасневалась и дрожащим голосом, прячась от ребятшек, вырезала из сердца слова:

— Мама, меня ворóтит от него! Видеть не могу Нила! Старуха любее! Ничего мне не надо! Доживу как-нибудь свой век!

Старуха боязливо и немо уставлялась на дочь. Будто стояли на станции в Овражках тощие березы в слезах, плакали акации, мокрели крыши, капали слезы из железной трубы у водокачки, где поили на дорогу паровозы, и махала Ольга из окошка вагона неповоротливым и непросохшим платком.

Маялись бабы в Овражках, в Борках, били баб в низеньких домах, в домах высоких, у кабаков, у крылец, бежали по Навозной улице простоволосые бабы и ревели. Протрезвлялись мужья, тишили, бабы терли синушки колбóтиком, напускали на переносье платки. Собирались бабы на усторонье на речке бельишко полоскать и хаяли, хаяли белый свет. Будто и не было в Овражках, в Борках бабьего счастья. Жил напротив Ольги золотарь — с бочкой по ночам выезжал на главные улицы — подглядела Ольга, как миловал и любовал свою бабу. А баба каждую ночь отворяла ворота, проводжала вонючую бочку, закутывала золотарю шарфом шею, как залезать ему на бочку к вожжам. Чахли бабы, как березы от деревного червяка, как березы осыпали мелкий лист. В Овражках да в Борках шли бабы замуж для глума и битья от попа до попа. Гуляла на Навозной улице одна злая баба в обиде на мужа с нищим-пастухом: осуждали бабу. Давал вструску мужкочегар, бухали словно о пустую бочку кулаки, кричала баба голосом, — стояли за углами и подсмеивали.

Жил Нил, как у мачехи, у Ольги; будто нанятой мужик спал на большом сундуке за печкой. Пятнадцать

годов не пожалела. В большие праздники варили пиво и покупали рогѳм непьющие Онучины мужики. Ольга хмелела и мякла. Сама натыкалась на сундук, и спала с мужем. Не глядела потом на него от поста до заговенья. И занывали зубы от брюха.

Копили деньгу на черный день, на ребят, на хворь в Борках; не доедали, не допивали. Отбирала от Нила мать волчью сыть, шила приданое золовке. Прятал от матери деньги сын, клал Ольге в приданный сундучок. Корила Ольга мужа насмешками: не умел делать радости нелюбимый муж. Будто укалывался Нил каждый раз об Ольгу, выпустила она колючки со всех сторон, надела платье на себя из ежовой шкурки — не дотронись.

Трудные подъемы идут под Угольским: Нил вертел круглым затылком и вперед и в хвост поезда: разрывало, терял хвосты, прибегали вагоны вспять. Останавливали за стрелкой: кидали шпалы на пути. Вбегали вагоны ночами на станцию, коверкали поезда, давили народ. Снимали Нила с поездов, „на маневры“, в слесаря. Выслуживал. Догоняли вагоны в пути, под уклон, били деревянными красными лбами в зад, поднимались и лезли вагон на вагон. Зарылся раз стальной бык в насыпь, — выкинуло Нила под снежные щиты. Привезли на Навозную улицу без памяти. Первый раз лег Нил на женину кровать. Ребята не отходили от кровати. Спала Ольга на сундуке, ворочалась, уставала прямая спина.

Отлежался Нил, снова повел крутыми угольскими горками поезда. Уезжал в Овражки, не было день, другой, третий, неделю, приходили вести о крушениях, о сломанных осях, шейках, гнилых шпалах. Сводила Ольга брови, ждала — не вернется, не приедет, не закарбакается у калитки. Сердце было холодно, как открытое зимнее окно. Скрипели двери, и сначала пока-

зывалась в дверях зачерневшая от сажи замасленная корзинка, а над ней темное лицо Нила. Кидалась вещами, резко передвигала, скребя дном, горшки, глядела, не видя, не хотя видеть.

Ольга приглядывалась, как чавкал он за столом, тихий, широкий, как подрагивал корпусом — будто большие в окутке солдатские черные хлебы: возили их по Навозной улице из пекарни в казармы, — как жадно глядел он, не отрываясь, на кусок, покуда подносил его к большому рту. А дети вокруг него весело звенели смехом, гладили его по рукам, по круглому затылку, заглядывали из-под локтей на медведя бровей, вытаскивали из жилетки маленький замусленный карандашик, очиняли его тупым столовым ножом. Ольга вдруг вздрагивала: она ловила себя на каком-то заклокатывающем в горле обидном и сладком нытье, раскрывала рот и, нехотя, улыбалась. Но, как выстрел в темноте, были эти забывчивые минуты.

Бежали вдоль железных путей по бровкам собаки, жеребята, коровы, брели пешеходы, странники, нищие — поезда шли крича и грозя и плача свистками. На переездах, под уклоны, врезались в стадо, давили, кромсали, резали в ночном забредших на полотно лошадей, оставляя за собой в деревнях, селах, починках плач. Зимами в метельный смрад и вой резали волков, зайцев, лосей.

Вернулся раз Нил из поездки. Собрала Ольга на стол ужин, усадила кружком четверых ребятишек. Нил насупился, не ел, не пил. Вдруг он как всхлипнул, заклохтал курицей — и закрыл лицо руками.

— Чело-ве-ка, человека я переехал...

И зарыдал, давя непривычное горе, затрясся.

— А у нево... а у нево... может... как и у меня... ребятишки!

Ольга захватила рукой горло, отодвинулась за кран, будто ожгло ей глаза медной искрой из самовара, будто увидела она того бездыханного человека на рельсах, несут его в дом и стучат по ступенькам сапоги носильщиков...

Нил вытирал грязным темным платком заплаканные глаза.

— Так совсем и задавило, папка?— спрашивали ребята. — На пополам?

И глядели любопытными круглыми, сосредоточенными глазами. Ольга, не глядя, сказала:

— Ты не нарочно задавил.

И будто равнодушно отвернула кран и подлила в чайник кипятку. А ночью долго не спала, слушала бред детей, слушала тоненький далекий писк: то на сундуке плакал задавленными в подушку слезами Нил.

Ольга не знала, не понимала, как она встала с кровати, как подошла к сундуку и дотронулась до мужа. Он вскочил и напугал ее. Она очнулась. Постояла, забыла, зачем пришла к нему, вспоминала в темноте, морщилась и молчала. Нил грузно пододвинулся, давая ей место. Она повела худыми плечами, близко наклонилась над ним и звонко, как к глухому на ухо, спросила:

— Тебе ничего не будет за это?

Запнулась и добавила:

— Я... из-за ребят.

И он забормотал, заторопился радостно, будто отлегла тяжесть, будто он и не плакал и не жалел человека, будто он не переезжал его на Леженском мосту и не вытаскивал его из-под тендера большими кусками мяса в лохматых обертках одежды:

— Нет... Нет. Я остановил... Я не хотел. Человек поднялся у моста по лестнице. Отшатнулся назад, запнулся за шпалу... Паровоз и нанесло...

Воротилась Ольга на кровать, будто поворачивался сундук под Нилом всю ночь — и глядели они в одну и ту же темноту удивленными, остановившимися, невидящими глазами.

И с тех пор Ольга начала бояться, когда он уезжал. Только затворится калитка, Ольга остановится посередь избы и задумается, глядит на себя в большое мухами обжитое на стене зеркало, видит одни свои глаза и тоненькие, как паутинный узор, морщинки на лбу. Ходит она своя не своя, а приедет Нил, Ольга сердится, кипит, гремит, будто нивесьть за что затаила на мужа непроходимую обиду.

Под осень перекладывали печку в избе. Старик-печеклад с молодым сыном весело пылили у печки, разбирая прожженные, треснувшие кирпичи. Молодой печеклад все мурлыкал себе под нос и часто выходил в сенцы пить воду из деревянной под пловучим кругом кадушки. Закрыты были в избе рогожками, холстиной, половиками-дорожками вещишки от пыли. Жили в сенцах, в задней избе. Разобрали печку, отобрали годящий кирпич, носили со двора новый кирпич. Глядел на Ольгу молодой печеклад приметно исподлобья, напевал, на голове у него картуз, на груди серый с красной кирпичной пылью фартук. Глядела на него Ольга и удивлялась, будто видала она его где-то и когда-то и знает его давно-давно. А вторые сутки и печку клали.

Уходили печеклады к себе на квартиру на обед, запирали за ними двери и сама не понимала — скучно ей чего-то дожидаться, когда опять придут. Тянуло Ольгу из сенцев, из задней избы на свою половину, то надо принести, другое, там поправить половичок, там погреть сундуком, там смахнуть лишнюю грязь. Беспокоится по хозяйству и взглянет на печекладов. Моло-

дой поет и усмехается, смотрит прямо на нее, ворожат голубые глаза и видать длинные пушистые в пыли ресницы. Горит у Ольги левое ухо, будто кисть рябины, и тепло и жарко под кожей текут, извиваются, трепыхают какие-то толкучие ручейки и волосинки.

Ушли на третий день ребятишки с отцом, с бабушкой по грибы на Лежу. Знает, придут к вечерням. Осталась домовничать. Стряпала, кормила кур, рубила кочерыжки корове, прибиралась в задней избе, носила воду, суетилась зря у печекладов. Молодойпил воду в сенцах, стояла у кадушки, фыркнул и плеснул две капли на лицо, не рассердилась, засмеялась, не отошла. Молодой вгляделся близко-близко-близко и подышал на нее.

Провожала на обед, сама не знала, дразнила глазами в глаза. Обернулся молодой в дверях и запнулся за порожек. Ойкнула в испуге и схватила за руку, чтобы не упал.

Воротился с обеда раньше времени один молодой печеклад. Заперла двери на задвижку до старика. А молодой в сенцы вошел, слышит она, стоит дожидается. Стоит и Ольга у задвижки, обмерла, прислушивается, как на дворе судачат куры и хрюкает под крыльцом свинья. Постояли так: печеклад к печке пошел, заколотил маленькой киркой по кирпичикам, отбивает дятлом, замурчал грустно и жалобно бессловесную песню.

Переступили ноги сами в переднюю избу... Тут молодой схватил ее... Так, стоя, у печки, торопясь и оглядываясь, прищуриваясь к дверям, а полы уходили из-под ног, качались плотом — и согрешила. Старик-печеклад уж стучал на крыльце и дергал задвижку.

Не поглядела больше Ольга на молодого. И он перестал петь.

Уходили, вынесла деньги старику, двери пошел за-пирать Нил.

— Хозяюшка, прощай, — сказал молодой, опинаясь у порога, — не поминай худом!

— Совет да любовь, — добавил старик.

— Нас не забывайте, — холодно ответила Ольга. — Задымит печка, покличем.

— Это мы с нашим удовольствием. Завсегда. За работу мы ответственные. Только не задымит, будь в надежде, — говорил старик, вышагивая за порог.

Ольга понесла от молодого. Не ныли зубы, только тянуло ее неотступно есть глину. Она отковыривала от печки маленькие кусочки и жевала, проглатывала, а потом ее подолгу тошнило.

— Папка, мама опять касляла, — рассказывала маленькая дочка приезжавшему из поездки отцу. Нил скромно, чтобы не рассердить Ольгу, смеялся и ласкал по голове девочку.

Ольга носила привычное беремя, только была на губах у ней какая-то непонятная, небывалая сладость, — и Ольга иногда незаметно для всех облизывалась. Она затаилась, утихла.

Шла зима. Печка исправно и светло топилась. Уже шевелился ребенок в животе. Она выпрямлялась и сглатывала слюну, когда он кидался ножками. Ольга тихо и спокойно служила семье, но с каждым днем все отчетливее боялась она, если долго не возвращался муж из поездки, кидалась открывать ему, молча кормила, была какая-то новая и робость и радость в том, что у порога стояли его вымазанные рыбьим жиром ухастые сапоги и даже засаленный черный сундук за печкой, будто маленький тендер, не морщил ее бровей, и она без дурноты, как было еще недавно, садилась на него. Но Ольга не могла глядеть на мужа — и как-то по-другому не могла глядеть.

Нил радовался на ее большой живот, как наливался он с недели на неделю, будто раздутая на ветру рубаха, будто подушка под белым одеялом.

Не ныли у Ольги зубы и был дорог этот обглоданный уголок печки. А на лице не было этого летучего гнева, словно наплывшая в летнюю ночь холодная волна с лугов, не было гнева на Нила, как раньше, только по-прежнему она молчала, жила она будто не с ним, а с его ребяташками.

Раз вышла Ольга за ворота. Бежал мимо вприпрыжку молодой печеклад, окинул гору ее, выпиравшую полусубок на натянувшемся крючке — и остановился. Но не успел он усмехнуться, а лишь пошевелил губами, Ольга резко приказала ему:

— Иди, иди своей дорогой!

Печеклад смешался, потоптался на месте, снял для чего-то шапку-уханку, а Ольга, не торопясь, повернула свой живот в калитку и ушла в дом. Потом она глядела в окно, как, опустив голову, втянув плечи, глубоко влезая в шапку-уханку, так что болтались уши шапки на крутых плечах, шел медленно печеклад по улице. Она глядела спокойно, равнодушно, как будто уходил от ее дома уличный прохожий. В другорядь увидала она печеклада на улице. Шел он навстречу, — узнал и вдруг повернул вспять. Ольга улыбнулась и во весь день весело смеялась, играла с ребяташками, остерегая свой живот, когда меньшая девочка кидалась к ней в колени бычком, головой вниз.

Заносило Борки ежегодно, даже в малый снег. Проносные ветра кувыркались над ним с первого зазимья до весеннего отзимья, и как в большую чашу, какой не сделать человечьими руками, все складывали и складывали, накручивали, навивали снег. И не гуляли над Борками метели в редкий день, а то несло по земле

белую пыль, дуло из лесов лишний снег, он все выше и выше подымался над настами — и, наконец, завивался перед поздиной в слепую и тесную кутерьму.

Жил Нил, как солдат в казарме. Ольга сморщила брови и не глядит, а он отпрашивается у ней в город. Она с сердцем, гневаясь, кинет:

— Да иди ты — что мне! Куда, да ненадолго, да зачем! И швырнет и рывнет посуду, щетку, голик.

Пятнадцать лет прошло заметными зазубринами на коже, на волосах, на захрипающем голосе. Уходил Нил из дому и спешил и торопился обратно на свою Навозную улицу. Не пил Нил, не просиживал с товарищами по чайнушкам, по кабакам, по трактирам, не сидел длинные жадные борковские ночи за картами. Любил он допоздна сидеть на лавочке у ворот: перекликались через улицу с золотарем. И тот любил сидеть близко, тесно, пола в полу со своей бабой на лавочке под своими окошками.

В ту зиму ушел ненадолго вечером Нил в депо: двенадцать — нет, час — нет, два — нет... Отужинали ребяташки, уложила Ольга свою тяжесть на кровать полежать, дожидается, дремлет, не стукнет ли, как кот лапкой, за окном муж. А на улице метелица. Выходил из себя борковский мороз, стучал в стены, щелял обмерзшие ворота, крыльца. Выла метелица в Трифоновских лесах, и будто скакали оттуда волчьи стаи на город Борки, были и лаiali, а с невидимого неба кричали в трубы снежные облака, визжали там, отдаваясь в печных трубах, мельничьи жернова, шумели и шелестели тысячи тысяч большекрылых мельниц.

Навалилась на Ольгу тоска, растет у нее сердце, занимает ей всю грудь, толкает в набухающие соски. Отвернула Ольга полным огнем свет. Ходила из угла в угол, шарила и гладила простывающее брюхо. Из избы

выносила тепло гуляка - метелица. Обмерзли малые оконца узорной солью. Постоит у окна, поскребет и снова ходит. Остановилась у печки, где любила печеклада, привалилась к теплому боку — и заплакала. Запрудили слезы глаза, насторожилась, ждет, как закричат у крыльца люди, застучат в сенцах валенки и принесут в избу его... Но кого принесут? Принесут молодого печеклада и положат на пол. Ольга закачалась и схватилась за печку. Маленькие часики с мигающими львиными глазами кадили из стороны в сторону медным кадилом-маятником; острые часовые шильца медленно и вяло передвигались по расписанному на круге садику, будто черные дорожки, а числа, как скамейки, взялись за руки и ведут хоровод.

И казалось Ольге, не взойдет больше солнце, не придет день, а будет биться в плаче и ломать руки метель, уснули навсегда ребятишки, догорит огонь и погаснет, а она станет ходить, ходить по избе и шарить в темноте стены, окна и не найдет дверей, чтобы отворить, когда кто-то постучит...

Нил пришел в непроглядные предутренние часы. Он долго выбивал из шубенки снег в сенях, обдергивал с усов сосульки, приглаживал зазябшую, мокрую голову.

— Где ты был? — задыхаясь, шептала Ольга.

Виновато оправдывался Нил, прижимаясь к скупой теплом печи, и рассказывал:

— Я не по своей охоте, Оленька. Выдали ребятам поверстные за три месяца. Собрались ребята в дежурке и в складчину за водкой...

— Постой, постой, — вдруг беспокойно задержала его Ольга за рукав. — Отойди сюда. — И потащила его ближе к устью.

— Теплее тут, — вырвалось у нее заботливо и ласково.

Нил послушно передвинулся к устью. А она стояла рядом, вплотную, горя, дыша на него теплым телом, впершись круглым брюхом к рукам его — и жадно слушала.

— Пришел я, все пьяные. Не пускают. Насилу вырвался. Пошел кассира искать. На товарной нашел в конторе. Часа два и прошло времени. Домой иду, гляжу в Обжорном ряду валяется человек в снегу. За метелью не разберешь, наклонился — кочегар Вавилов. Поглядел дальше — перевалился через палисадник головой вниз машинист Гусев. Кричит на него, шатается, сам пьянее вина, помощник Сенька Варзин. Думаю, плохо ребята дело. Закочeneют. Не дойти одним. Вот я Сеньке и говорю — погоди тут, постереги Гусева, чтобы не обокрал какой вор ночью, а я Вавилова домой стащу. Сенька ругать меня, драться лезет, а остался. Я Вавилова вести, валится мешком, пришлось на себя. Перепотел весь, тащучи чорта.

Нил усмехнулся, а Ольга глядела на него из-под ладошки, шаря и глядя сводившую на лбу кожу от прихлынувшей крови.

— Поди, полгорода протащил — живет на Куликах. Потом Гусева тем же манером. Сенька не дождался и сам ушел. Поискал его, нет. Думаю, а не валяется ли где? Дай проверю. Постучался к хозяйке. Вышла. Дома, грит, спит. 'Ну, ладно. Вот время-то и прошло. И о доме сердце болит, а как же товарищей оставить в таком положении?

— Да, да, — бормотала Ольга. — Да, да!

— Надо, думаю, еще поглядеть на дороге. Пошел к депо — и еще семерых сыскал. Всю ночь и провалялся, да все бегом, одного доставлю, за другим... Кричать - покричать на улице: никого нет. Насилу справился. Хуже всякой работы. Забыл машиниста

Верхушкина квартиру, он языком лыка не вяжет, поди, два часа проблуждал с ним, баба его на счастье вышла искать — и пихнул ей, а то хоть сюда веди.

Нил задумался, пошевелился, подрожал коренастым телом и в раздумьи сказал:

— Будто все? Больше никого не было в дежурке из закладывающих. Без ума ребята пьют! Что-то холодно у нас в квартире, Оленька!

Сердце заполнило всю грудь у Ольги еще давеча, теперь кинулась ей в горло, в лицо, в глаза краска; Ольга прижалась к нему, дрожа, и обнимая и наклоняя его на крепкой шее круглую голову, впивалась в мокрые губы, в медведя бровей, в измазанные ее слезами щеки с частыми выбоинками.

Прилило тепло к Нилу, как будто от затеплившейся невидимым огнем печки, он не успевал говорить, спрашивать, обмирать: весенним проливным дождем были ее целующие губы.

Первый раз Ольга положила его с собой на кровать и он осторожно, оберегая большой неудобный живот, спал с ней.

— Не твой, не твой ребенок... печекладов,— грустно шептала Ольга.— Согрешила я...

— Я сердца на тебя не имею,— гладил ее по спине муж.— Не от сласти согрешила, от муки. Затаим от людей. А он хороший, избалованный парень — никому не скажет... Я, буди, его попрошу не срамить тебя?

— Тут... тут... у печки, где стоял ты сперва — и согрешила. Не взыщи! А то... убей меня, медведушко мой!

Нил спрятал ее голову на широкую, ходившую тяжело грудь, будто жгли ее огнем, и тихо, скорбя голосом, скорбя раскрытыми невидными ей глазами, говорил:

— Милым бывать бы, и то хорошо! Милым бывать бы, и то хорошо!

К О Н И

От Угольского, ó поле, стоял хутор. Жил там старик-коновал со старухой. Молодым ходил он по Трифоновской вотчине и легчил лошадей, боровов и баранов.

Лет за тридцать коноваленья хутор обстроился. Выросли высокие деревья, загустили сад; черная и красная смородина, малинник, яблоки, завелись пчелы, пробороздил пустое поле огород, ходили на привязи холмогорские коровы, веселые ярославки, лопотали гуси, повизгивали свиньи и ржали могучие кони.

Конвал ходил из волости в волость, а жена с работниками обстраивалась. Народили ребят — одних баб — и роздали по замужествам. Устаревая, остались одни. Перенесли любовь на хуторских собак — она, старик — на жеребцов.

Выводил старик невиданных коней. Наезжали смотреть из ближних и дальних городков, закупали на бега, на богатые выезды...

Зимой, после войны, пришли угольские мужики, нищета, голытьба, увели коров, лошадей, вывезли хлеб, картошку, оставили прокорма на двоих и на засев, оставили собак и одного жеребенка.

Давно зарились конокрады на коня, торговали его, приводили первостатейных лошадей на обмен, — старик не хотел расстаться с милым сердцу жеребцом. Грозили. Обещались прийти.

Запоры на хуторе были крепкие, хозяйственные. Угольское было рядом, о поле, а ночи в лесах у Трифона черные, как земля, не услышат в Угольском ни крика, ни плача, побегут оттуда только на красного петуха, оберегая свои голодные хлебом овины, побегут на летучую по ветру искру и красную шипунью-головню.

Берег старик коня — мыл и чесал, натирал ему спину лосной травой, обделывал копытца острым ножичком, как на станке точеные кругляшки, стлал сухую ломкую солому на деревянном полу, поил его из чистого ведра, выбирал старой пятерней тинку, колодезную плесень, вил, будто на веретене, рыжую гриву и холил густой золотой хвост. Водил, прохаживал, так в цирке видел, коня по кругу на дворе. И дрожал каждой жилкой на воле конь, трепетал натянутой гладкой кожей, струнил ногами, будто первая славнуха у Трифона, ржал сквозь белые полочки зубов пронзительным дребезгом, взвевая хвост и подымаясь на дыбы с закинутой головой. Тонили сквозные поля голос коня. Старик оторваться не мог от своего играющего невырезанным мужеством игруна.

Цепные псы бегали за немалой изгородью во всю ночь, нюхали, шарили, брешали колотушкой — собачьим залиvistым лаем, — отпугивали смелого ночного врага, подходящего с поля. Запоры, ставни, засовы испробованные на хуторе: не впустят.

Старик надеялся только на псов, на ночную сторожевую запряжку, на ружье, крепко еще зажатое в стариковских пальцах.

Угольское рядом, полетит зов — не пошевелиятся, не высунутся за околицу, не отведут отводов! Заручки от людей нет. Люди сами по себе. Гостил старик до последнего коня у дочери в городе, в общежительном доме, резали богатую генеральшу городские разбой-

ники—знали, золото осталось от прежней жизни—кричала, просила генеральша на весь дом, слышно было во всех этажах по темным коридорам, никто не высунул носа. Он тоже помочь не подумал. Откликнулись милиционеры с улицы, обложили дом у проходов, взяли грабителей, а генеральшу не спасли.

Августовские ночи пришли черней черна. Опасное время! Старик ходил не один раз в ночь проведывать любимого. Держал он его рядом с избой, вход из сеней, отворял сплошную тяжелую дверь и тревожно кликал:

— Ястреб! Ястреб!

Конь переступал с ноги на ногу, шумел гривой, будто сама темнота отряхивала гривы у полных ясель, или вскрикивал конь приветливым ответом, будто белые зубы сверкали в углу. Старику было спокойно и любо.

— Забродила!—ворчала старуха.—Жеребятник! Кто к нам придет? Богатство было—не приходили. Чево у нас взять? Надоть твоево рыжево кому! Ныне лошадь нужна рабочая: забаву оставили. И тебе пора красоваться плюнуть: в сомущенье только народ вводишь! И... не спишь, как петух!

Раз лайкнули собаки—и пошли и пошли...

— Загрызут окаянные каково прохожево?—испугалась просыпаясь старуха.—Поглядеть бы, может, за изгородку вылезли?

Старик вздул огонь, схватил со стены ружье и в тревоге сказал:

— Нет. Это воры... Собаки лают неотступно.

И как он это сказал, в избе глухо и ползуче, словно кирпич вывалился сверху и упал в дымоход, отозвался выстрел в поле.

— Слышишь?—зашептал старик.—Идут, идут...

Взвизгнули собаки и залаяли пуще прежнего, отбежали к дому. Гремела одна собака на цепи вокруг строений.

Опять обвалилось в избе. Старуха сосчитала: выпустили шесть зарядов.

— Што ж это, старик? — начиная ноющим голосом, восклицала старуха. — Ведь бяда кажись?

Старик сердито и грустно и горько ответил:

— Это за Ястребом: конокрады. Идут на прямую: грабежом!

Собаки смолкали и где-то далеко лаяли в ночи за хутором. Старик вслушался, и сам себе печально промолвил:

— Ведет голос Бурой да Костыль... И то тихо: ранены, видно. А Верунька на цепи молчит: Веруньку, должно, пристрелили!

— От те и собаки! — заплакала старуха. — Покинули хозяина! От те и надежа!

Старик наморщился и прикрикнул на нее:

— Конокрады от собак заговор знают, еловая шишка! Вдруг он окреп, осмелел... Около дома ходили, поднимались на крыльцо...

Наклонился старик к лицу старухи и проговорил строго:

— Дверь ломать будут, ставни... сиди тут... не отзывайсь, будто никого нет...

И он забурчал, выходя за дверь:

— Я им не отдам моего коня! Шалишь!

Старик ошарил в сенцах топор и спустился к Ястребу, затихая и насторожаясь у ворот. Ворота потрогали, толкнули, бедно посветили фонарем... Ястреб заржал.

— Зде-е-сь! — радостно сказал человек за воротами. — Старик, ребята, не спит. Надо отвести ему глаза. Поди двое ломай двери в избу, а мы тут вдвоем достанем коня. Слёгу под полотнища подсунем, раскачаем ворота и снимем запор. Были в тот раз, я усмотрел, здоровенный у него поперешник.

Старик молчал. Конокрады подсунули под ворота слёгу и принялись за дело. Старик услышал, как в одно время начали возиться на крыльце и ломать двери в избу. Он неподвижно стоял у ворот, отставил ружье к стенке, уперся ногой в пол и держал наизготовке топор.

Ворота качались и скрипели, беспокоился Ястреб, скребясь копытом, трещали двери на крыльце... Стариковская оборона не поддавалась. Уставали и делали передышку, качали опять и настойчиво перемогали сухое толстое дерево. Рубили топорами сплеча, топор не брал... Снова качали... Качали ровно, мерно, подолгу...

Петли у ворот стали слабнуть: ворота сдавали. Старик покачал затекшую с топором руку и переступил ближе. Скупой фонарь чуть светил на полу со двора. И вот — отошло одно полотнище... Просунули конокрады слёгу в щель и начали отгибать слёгу в сторону.

Отогнули: можно пролезть...

Тут один вставил ногу в щель, а другой держал слёгу... Завеселели, тихонько засмеялись... Старик углядел ногу и рубанул по ней со всей силы...

Топор звенькнул, хрястнул, слёга выгнала и вывалилась, ворота плотно чавкнули и замерли, человек за воротами, лязгнув фонарем, крича дико и гулко в ночи, свалился на землю... Порубленная нога в сапоге торчала из подворотни — и осталась лежать.

Старик молча и довольно вытирал пот на лбу, не выпуская топора.

Дрожа, шепча в темноте, прибегая из избы, позвала старуха:

— Старик? Старик?

— Иди в избу! Я свое дело знаю. Ты свое знай! Одново нет — трое еще осталось. Пошла на свое место!

Осторожно потянули ногу из подворотни, оттащили конокрада, а он загнусел и прокричал, мешая вопли с тревожным ржанием Ястреба, один некончаемый раз, захлебнулся — и стих...

За воротами шептались, ходили, молчали... Не ломились больше в крыльцо.

Ночь затихла. Только не унимался Ястреб. Старик стоял.

Прошел долгий, как ночь, час. Смолкли люди за воротами, будто ушли, стонал в забытии где-то неподалеку от ворот конокрад... Старик ждал... Все ближе и ближе гремела телега. Подъехали. Покричал снова страшно и плаксиво конокрад. Телега медленно, поскрипывая и заглыхая на мягких полях и снова разговаривая колесами, отъехала.

Тут к воротам подошел один, постучал кулаком и, грозя, вышвырнул:

— Старик, мы тя добудем!

Старик засмеялся громко и насмешливо:

— Добывайте!

Человек за воротами отошел и будто побежал догонять телегу.

Легла на хутор тишина предутренних часов, чуткая, вещая, легла она омутами снов, будто были мертвые и луга, и леса, и поля, и человеческое жилье.

— Бабка, они еще придут, — шептал старик. — Теперь им нельзя. Узнали мы друг друга. Держись крепко. Осилит! За помощью поехали. Отвезут товарища — и обратно. Выходить нам нельзя: стерегут. Не слышать, а сторожа сидят. Погоди уж, засветает скоро!..

Старуха плакала в сенцах.

Старик оправлял ворота, подкладывая за ослабевший запор березовые поленья и сливая полотнища одним нераскачиваемым сплошняком. Он ворчал недовольно на старуху:

— Пошла, пошла за печь!

Долго и трудно шла ночь. Ястреб жевал у ясель. Старик погладил его в темноте по морде и шутливо посовал ему пальцы в ноздри. Конь фыркнул, чихнул — и зазвенел голосом. И опять тишь. Старик слышал, как тихим волоском билось у него сердце и дергало неровно, бежа и скача в застарелом ячмене в глазу...

Вдруг за воротами мелькнул огонек, шаркнули землей люди, скрипнула жесть и сразу люди закричали полными голосами:

— Старче! Эй, старче! Нюхай! Не помри раньше времени!

Серьезно ответил старик:

— Помирать не охота!

И затрепетал... Понесло резко керосином. Старик заметался соломой на ветру...

Огонь обнял сразу хутор широким красным ошейником. Облитые керосином у подошвы, всплыли на красной сковороде стены... Огонь рекой полез в подворотню, чадя и глотая сухой ломкий настил. Багровым светом загорелось лицо старика...

Старуха забегала, забылась, кинулась на двор, снимая запор... Прокричала в зареве один короткий вскрик: пришибли старуху. Ворвались в дом, громыхали ногами в сенцах.

Старик выронил топор, забыл ружье, он, плача, отвязывал Ястреба.

Обжигаясь, накидываясь на старика, торопились с Ястребом.

Отмахнули в огне запор, вскрыли ворота. Ветер, поднятый пламенем, хлынул внутрь, освежил, задул и откачнул огонь...

Ястреб, перескакивая горелое место, паля свои стянутые струнами к брюху ноги, вынес на чолке одного конокрада.

Старик выскочил за конем. Его облапили двое других, сломали и кинули в недоступный уже для прохода огненный кипяток полыхавшей соломы в конюшне.

Бежало Угольское светлыми полями к хутору...

Конокрады другой дорогой уходили с Ястребом.

МОНАХ

У меня было только три встречи с этой женщиной. Но воспоминания не преходящи... Я думал, я учился, я спрашивал,— и я никак не мог понять раньше до этой встречи, и никто мне никак не мог объяснить, что такое, собственно, человеческое счастье! Я шел по земле прохожим, и мне никогда не было весело. Я так и пронес бы печаль до сего дня. Мне скучно было всегда!

Но что мои маленькие печали с ее неохватимой печалью, с мраком ее сердца, с ненастьем ее глаз?

Когда я вспоминаю мягкую кротость ее лица, когда я будто слышу выстрелы ее обезумевших любовью глаз к этому человеку, я удивляюсь, как люди могут радоваться и смеяться и скакать на одной ножке, когда жизнь, как глухонемой слепец, пиликающий на гармонике? Чего тут хорошего, что они живут на земле? И сам я не пойму, почему и для кого я жил? Но о ней я расскажу.

Как и все, я уже выставил окна у себя, дышал разбухающими почками тополей, воздух весенний был так густ, будто весь он был настойкой из тополей. Он побеждал прель и сырь и запах гниющих грибков под моим окошком. Нестерпимое время года! Я больше всего грустил о ту пору. Другие ходили с раскрытыми глазами от непонятого им удивления и с раздувшимися,

как лопнувшие почки, ноздрями. Я таскал себя по комнате, по двору, по улицам...

Проходил я нашими Овражками в один такой нестерпимый день. Гляжу, везут на телеге гроб, а за телегой идет одна единственная женщина, вся в черном.

Женщина крепко шла за телегой, обходя лужи, а губы у ней шевелились - шевелились - шевелились. На улице было как-то особенно интимно, по-домашнему, узко, только они и я.

Она была пряма и статна, бела. Волосы у ней были совершенно кремового шелка, а глаза черны и вместе прозрачны. Я задохнулся от волнения. Я не знал, что случилось со мной.

Но это было чувство безграничного очарования, чувство, раскрывшее усатый мой рот, замигавшее в моих овлаженных глазах, застонавшее в моем голосе.

И я тогда подошел к ней и сказал:

— Дайте, я провожу его вместе с вами!

Она только молча кивнула мне головой — и я пошел. Мы молча прошли весь город, уложили в могилу гроб, могильщики, как землекопы на обычных земляных работах, старательно начали заваливать, а она глядела в могилу, будто надсмотрщик на работах, верно и точно определяя работу каждого. Я не изумился. Я только как-то затаился в себе, что-то я узнавал такое, чего не знал раньше, будто я ожидал, кто-то внутри меня скажет одно значительнейшее из всех значительнейших слов в мире. Но я перемудрил. Я просто, при виде этой железной печали, при виде этой загробной заботливости, заплакал вдруг над ней и над ним сокрушительным, зашатавшим меня ливнем.

— Как это хорошо! — звеня высоко над моей головой, промолвила женщина, облила меня, казалось, закипевшими глазами и вздохнула. — Как это хорошо!

Могильщики зарыли могилу, и один из них воткнул в серый холмик лопату. Женщина вынула с груди маленький зеленый кошелек, заплатила могильщикам деньги и подошла ко мне, положив мне голову на грудь.

— Я тебя жду на кутью,—прошептала она и назвала свою квартиру.—Завтра, в семь вечера. Ты так похож на него!

Я отшатнулся и застранил себя от нее руками. Она быстро пошла за церковь, обернулась на углу и, лукаво и как-то загадочно грозя пальцем, опять зазвела голосом, напомнившим мне детскую музыкальную игрушку, играющую под деревянными молоточками:

— Я зна-а-ю, я зна-а-ю!..

Я никогда вновь не переживу этих минут! Ее нет, Я не увижу, не услышу ее!

Могильщики переглядывались и озирались на меня. Я чувствовал, как эти люди сдерживали вглуби себя негодование, я ждал, что они поднимут лопаты и расколют мой череп. Я не разбираюсь, как это случилось, но я достал деньги и протянул могильщикам. Тут на меня один замахнулся лопатой и, покуда я бежал, я слышал, как они кричали:

— Любовник! Любовник! Мертвый любовник!

Дикое чувство удовлетворения охватило меня. Нелепая, угнетающая догадка могильщиков, однако, заставила меня дрожать и биться о железную мою, тощую, одинокую постель всю ночь. Я нюхал, как странно право, сонные тополя с молодым наслаждением, с небывалой приятностью и раздувал ноздри, как молодой жеребенок. Женщина являлась передо мною в явном безумии. И это-то стало непоправимым бедствием моей жизни. И моей радостью. Я пошел к ней.

Лунный коготь вонзился в небо, и светит Юпитер играющим глазом, и все вокруг него, бледно, неясно,

полно недосказанного и вещего смысла. Так нам кажется. Так казалось и мне, когда я блуждал по окрайной улице Овражков. Знал, не сомневался: ничего нет таинственного в небесной пустоте; пылают жаркие солнца; ходят вокруг них на привязи железные глобусы планет, обедневшие светом, погасшие очаги, несут на хребтах своих нас, людишек, пыль, приставшую к железным горам; нищая луна дикая и даже безлюдная напрасно выпустила свой коготь в бесконечность; цветет холодный Юпитер, непризнанное солнце, обманчивым огнем в ледяной дали, — а сердце и болело и вело меня к ней.

На задворках, в старой бане, в пустом и нагом еще саду, я заметил слабый огонь. Тут она жила. В городе было тесно после революции. Будто родили все женщины сразу и переполнили город народом. В Овражках жили люди по сараюшкам, в банях, в заброшенных давно и погоревших домах.

Она меня встретила в том же черном, словно она не раздевалась с тех пор и все еще шла за гробом.

В комнате было низко, душно... На столе стояла на блюдечке кутя. В углу деревянная кровать под белым одеялом.

У меня горит голова через три года; не зажмуривая глаз, я вижу каждый паз, каждый гвоздик в этой комнате!

Я не знаю, сколько незабываемых часов я был у нее. Она меня мешала с ним, и мне казалось, что я сам верил в это. Я узнал ее имя: Мира. Его звали Додик. И она называла меня Додиком. Муж ее был монах. Когда откупорили после революции монастырек в Овражках, они нашли эту баню и стали жить. Пил Додик, бил Миру, а она стегала на заказ лоскутные одеяла и вышивала. Кормила его. Она так ласково и кротко говорила о нем, будто он еще лежал на этой белой, чистой постели в углу, будто он спал после дальней и трудной

дороги, и она, рассказывая о нем, о себе, слышала его сонные вздохи. Я с ужасом не сводил остановившихся глаз с Миры. Она казалась мне необыкновенной. Мне думалось, наши Овражки, родившие некрасивых коренастых людей, каким-то таинственным случаем, ошибкой, создали это совершенство. И ее били, били, били! Я узнавал мои родные Овражки!

Нет, можно было задохнуться от удушья, наполнявшего меня, как полный закупоренный сосуд бродившим вином!

Додик приводил с собой пьяных женщин, вместе с ними бил ее, выгонял... Мира стерегла запор у дверей, дрогла спущенной на цепь собачкой на холоду, а в избе пели, плясали и пили. Додик сваливался, женщины уходили — и она отнимала у них заказные стеганные одеяла. Она обмывала белую постель от ночных женщин. Проспавшись, протрезвев, Додик неподвижно лежал несколько дней на постели, отводил от нее глаза к стене, она насильно кормила его и вливала ему в стиснутый рот красное вино. Не было несчастнее человека на свете в эти неподвижные дни. На другой, на третий день он сползал с кровати и обнимал ее ноги. А к вечеру он запивал, пропадал, уносил вещи...

За неделю до этой ночи, как я горел неугасимым огнем около нее, Додика привезли с перерезанными жилами на руке. Он был бел и тонок. Будто вышла вся пьяная кровь из него, будто опустелый дом были его глаза.

— Ты знаешь, он это сам! — восклицала она с восторгом, с упоением. — Чирк, чирк, чирк! Он унес мои вышивки. И потерял. Ему стало жалко — жалко вышивок. Он — чирк, чирк, чирк!

— Да, да, — бормотал я, держась за стол.

— Ты знаешь, — задумываясь, переходя в шопот, наклонялась ко мне Мира. — У меня на душе тихо, как

утром в поле. Но ты, Додик, напрасно меня обманываешь. Ты пришел вчера ночью... Ты ведь приходил? Я велела тебе раздеться и лечь ко мне. Ты почему-то постоял, постоял и ушел, не захотел лечь со мной. А я обману тебя. Ты опять придешь, я запру двери на ключ, стану в дверях, вот так крестом раскину руки... и не выпущу тебя. Ха-ха! Ха-ха!

Я дрожал и чувствовал, как ее белые полные руки тяжело огнетали мои плечи. Она изогнулась с табуретки ко мне густыми, давившими кофточку грудями и пристально смотрела на меня жадными испытующими глазами. Я отводил свои глаза, она их искала—и находила. Раз она даже взяла меня за голову и повернула к себе, вскрикнув:

— Смотри на меня!

Я смотрел и не знал, где я и что со мной.

Вдруг, внезапно, она насторожалась, всматривалась куда-то в полумрак комнаты, быстро и беззвучно шевелила губами, тихо усмехалась и махала кому-то весело рукой.

— Ты плачешь?—удивленно спрашивала меня, отрываясь от видений и оттаскивая с моего лица руки.—Не плачь, милый, я же не плачу. Дай я тебя поцелую.

Я не успевал подумать: она вспрыгивала ко мне на колени, обвивала меня за шею одной рукой, больно сжимая, а другой делала мои губы трубочкой и впивалась в них, давила, горела губами. Я забывался, и мне казалось, я падаю. Потом также внезапно она отталкивала меня, подкрадывалась к дверям, поднимала крючок, выглядывала в темные сени, прислушивалась, накладывала со смехом крючок на место и садилась рядом...

— Никого нет! Да нет же никого!—кричала она на меня.

Я не знаю, как я пережил эту ночь. Человек живуч и вынослив. Он вытягивается, как резина, и живет. Я узнал, кто она. Я узнал ее любовь. Я расскажу о ней своими словами. Я не могу передать, как рассказывала она сама, мешая в своей повести безумие с нежностью ко мне и гнев с побоями.

Двадцать лет назад жил в Овражках инженер. Мира была его дочь. Под Овражками искони были имения. Гостила летом Мира в одном таком имении у подруги. Реки разливаются по низким раздольям и овражкам у Трифона-на-Корешках заливными лугами. Луга синеют, голубеют, розовеют летом. Мира любила бродить одна в высокой заливной траве. Мира перевивалась гирляндами колокольчиков, фиалками, гиацинтами, ее платье, комната, постель, ночная рубашка пахли землей, водой и цветами. А луга терялись вдаль у синего лесного окоема, тянули итти-итти-итти. После покоса Мира раз ушла далеко от дома, устала и прилегла в сеновале. Скошенное и подсохшее сено пахнет невыносимо! В его запахе сон, изнеможение, смежающиеся глаза! Мира уснула. Пробудилась она от тяжести на груди и боли. Мира сквозь сено, запорошившее лицо, увидела, что ворота были закрыты, что наступала ночь и что кто-то огромный и сильный обнял ее, сжал... Сено лезло в рот, душило. Мира потеряла голос и могла только хрипеть. Она билась и кашляла от сена и пыли. Мира через силу, напряжившись, приподняла голову и сильно ударилась о лицо человека. И вот он стал ослабевать, носом у него пошла кровь. Мира рывком отбросила его и вскочила. Но она поняла, что была беззащитна, одна, далеко от людей. Она не звала на помощь, не кричала, даже не плакала. Она глядела на него и дрожала. Перед ней был высокий молодой монах в черном подряснике. Не глядя на Миру, молча, он как-то неловко, боком вышел из сеновала

и быстро пошел. Мира выждала. И ее потянуло взглянуть еще раз на этого человека. Монах почти бежал к лесу огромный, босой, со шляпой в руках и сапогами через плечо. На опушке он боязливо оглянулся и скрылся в деревьях.

Бывают такие непонятные вещи в жизни: Мира не чувствовала к нему ни злобы, ни страха, ни отвращения. Глядя на него, как он трусливо бежал от сеновала и как через плечо у него были повешены на веревочке большие сапоги, Мира вдруг улыбнулась. Потом она плакала, тело болело и ныло, будто сгустела в нем кровь, и ей было тяжело течь по жилам. Мира никому не сказала. Но странно: она разыскивала монаха. Потом, вскоре, она встретила его в монастыре, в Овражках.

Как нежен был ее голос, когда она говорила мне об этой встрече!

— Ты помнишь, как мы встретились? — ласкала она меня, целуя в глаза.

Они столкнулись в монастыре. Он перекосялся весь, злобно взглянул на нее и сказал:

— Ну, что же ты не кричишь? Бери меня! Я не побегу!

Мира постояла, прикованная к земле, молча обошла его и не обернулась. Монах глядел ей вслед, она чувствовала, и не двигался.

Мира весело и звонко, хлопая в ладошки, волнуясь, задыхаясь, торопясь, рассказывала дальше.

Монах с тех пор преследовал ее. Он ходил около ее дома, подстерегал на улице, останавливал ее. Она любила Додика...

Тут помню и я, тогда еще молодой, как пропала в Овражках дочь инженера, как искали ее по кремовым волосам и не могли нигде найти, как умер отец в поисках за дочерью, и как долго в Овражках после того

берегли девушек. Это была Мира. Она ушла в келью монаха и прожила там, прячась от игуменских обходов, в платяном шкафу, под рясами и подрясниками, не выходя из кельи, пятнадцать лет. Запирал ее монах, уходя из кельи, носил ей пищу, не доедая в трапезной, выходила она из шкафа только ночью. Был Додик тих и молчалив и мрачен на людях. Шла о нем на монастыре, по Овражкам слава. Шептали ему вслед богомолки умильные слова, а он, опустив голову, ни на кого не глядя, хранил свое заповедное.

Я не вынес, я упал к ее ногам, когда пахнула на меня неведомая мне доселе любовь женщины и ответное ей! Я целовал ноги Мире и не хотел встать.

— Смешной, смешной, смешной! Ну, я прощаю тебя! — растягивала печально слова Мира и поднимала мне волосы к темени, будто процеживая их сквозь пальцы.

Так до революции Мира и прожила в келье. И если бы она умерла, монах вынес бы ее ночью в темной рясе, спрятал в леженских зыбунах — и никто не узнал бы о тайне их любви. О Мире все забыли. Забыла и она обо всех.

Раскупили монастырек. Мира тайно вышла из кельи. Никто не видел, никто не узнал, и зачем знать людям, как любила Мира? Вышли они из монастырька, укрылись в старой бане — и Додик запил. Он затосковал по своей тюрьме!

Бывают такие обрывы каменные, крутые на реке. Стоят, стоят они, бегут и разбиваются о них весенние льдины, не помнит никто, когда река вымыла каменные свои бока — и рухнут они осенними паводками, завалят глубокие дороги узорным белянам и встанут на стержне сплавные уромы... А весной полая вода прорвет зажатое горло меж присевших берегов — и не было обрывов.

Когда я узнал все, и она, безумая, и уже плача, и стеновая, все чаще садилась ко мне на колени, обвивала меня одной рукой за шею, а другой сжимала мои губы в трубочку и душила меня мокрыми дрожавшими губами, тут случилось немыслимое, неоправдываемое ничем мое вероломство.

Ночь затворила, как черными ставнями, окна, огонь в комнате потухал... Она бормотала несвязные слова, поднимала меня, подводила к дверям, приказывала что-то слушать, и сама слушала затаенно вместе со мной, усаживала меня снова, целовала — мне было страшно.

Я не владел собой и делал то, что хотела она.

Вдруг Мира долго-долго-долго о чем-то тихо думала, положив руки на колени. Потом встала... Раскрыла изумленные на меня глаза, не узнавая, горя глазами, торопливо растегнула черную кофточку, сняла ее, спустила юбку.

Я зажмурился. Черное платье было надето на голое тело. В меня ударило теплой одуряющей волной... Я закрыл глаза.

— Додик, ты жив? Ты не умер? — шептала она, прижимаясь и плача.

Я обезумел...

— Да, да, — лепетал я, делая немыслимое.

Вдруг она, вздрогнув, остановилась, замерла, поглядела на меня, поняла, и глаза ее ужаснулись, медленно сузились, слабо закрылись, руки поползли на постель и упали, — и я почувствовал, как тело ее начало холодеть.

Она была в обмороке. Я нашел на столе воду, кинул на Миру несколько капель, она вздохнула, переложила руку на грудь и повернулась к стене.

Я не знаю, как я надел свою жалкую и постыдную одежду, затоптанную на полу, как я вышел из комнаты, но только где-то за рекой запел петух, и я понял, что

стою в чуть разбухающей ранним светом ночи на мосту, внизу плещется нежнейшим журчанием вода в темноте, и через мелкие перекаты проходят рыбы, виляя хвостами. Да, я снова жил...

Много спустя я припомнил, как уходя, рыдая, мельком скопил я глаза на постель: белая спина ее дрожала.

Днем ее вытащили из реки лодочники-перевозчики, разодрав эту белую, но уже мертвую спину, железными кошками.

Я не отходил от нее. Я будто и сейчас смотрю и не могу насмотреться и не смею смотреть в ее лицо. Я ее похоронил рядом с ним. Я один провожал ее. И те же могильщики заваливали могилу. Они на меня боялись глядеть, но приняли молча и торопливо деньги. Теперь я знаю, зачем я живу. Я ищу любви. Я вижу ее всюду. Любовь есть на земле.

СУНДУК

В городе Овражках на Бивне жил исстари мукомол Красноперов. Освободили его в революцию от домика в двадцать зеркальных окошек. И разнесли из домика столетнее вещное добро по деревням проходящие из-под Риги российские воины, поставили исполкомцы у себя, в уком и леском мебелишки семь дюжин, а в Москву увезли наехавшие музейники два вагончика хрусталу. Попустовал кратковременно дом, повысадили в нем мальчишки стекла из рогаток и простым каменным броском, а потом осели в дому три роты красной армии, отряд учека, за отгородкой взади поместился унаробраз, на антресолях смастерили общежитие для военнопленных германцев, тут же в коридоре развернулся упродком, а под лестницей за фанерной стеной земельный отдел.

Освободили Красноперова от мельниц, от складов. Был он обыскан и обшарен бессчетно с исподу, отсидел в незнакомых дотоле тучному белому телу овражских каменных местах за околицей — жертвовал на них в свое время щедрую дань, надстроил своим коштом богоугодный третий этажок для арестантников — был Красноперов много раз выпрошен, выискан — и рано или поздно обласкан свободой.

Был Красноперов человек обживистый, непреклонный, несудачливый. Вышел он, в чем мать родила, на овраж-

ские улицы, плюнул на караульную будку, проходя мимо своих облупившихся палат на Бивне — и поступил — на смех взяли — сторожем на утилизационные склады.

Жила у пристаней на Обноре в малом трехоконном домике вдова Мурка. Говорила она — будто кошка мурлыкала, Муркой и прозвали озорники. У ней Красноперов комнатку и приглядел. Жила себе Мурка: за квартиру платить не надо, произрастал взади огород, хрюкала свинья, продавала на племя гусиные яйца.

Ходили проверять в Овражках домишки комиссары, уполномоченные, комитетчики. Все жительства малмала меньше — и ни весть чем жили в них, не узнать, не добраться. Мурку никто и не трогал.

Приглядел Красноперов комнатушку у Мурки только для отвода глаз. Скрытный был человек мукомол: двадцать лет жил с Муркой, еще при покойном ее муже, кассире на пристанях, а никто, почесть, и не знал. И Мурка не удала в характере. Были они два сапога пара, сто лет обоим. Знали друзья да закадычники.

Вывернул один такой друг Любим три раза шубу еще до войны, промахнулся, скис и не выкарабкался, обеднел по-настоящему. Потом на войну угнали. Потом в Овражки на родину с немалым добром вернулся: воевал по чужим квартирам в Москве. Посадили за околицу, добро отобрали, попал под зачет, скостили два года — и выскочил. Стал промыслять: мыло варил, соль на масло менял, торговал николаевками, перепродавал от упродкома, поймали опустя пору, семенной хлеб на горчицу, горчицу на валенки, валенки на воблу, посыпал воблу сахарным песком. Пошел человек опять в гору. И трахнул по-старому. Вывернулся: посадили других.

Приставал он у Мурки: не люб был, не мил, а нельзя. Укрывал товары в домике, сам прятался.

Пришел он раз под вечерок осенью, холода стояли перед зимой, и говорит:

— А я к вам, дружочки! Еду в Угольское меннуть малость товары. Лодчонку отемнясь подгонит верной человек насупротив вас. Прохлаждаться-то некогда. Занесу к вам я сундучок покеда! Похраните, сделайте милости! Сундучок много места не займет. А я покачусь за другим товарцом. Стемнеет как в наилучшую, сразуку приду, сундучок в лодку и вынесем с моими ребятами.

Отворили крыльцо. Кряхтя и потея, он втащил на спине большой сундук, бережно уставил его в уголок прихожей, снял веревки и часто и долго переводил дыхание.

— В сенях бы ты его оставил,—и ласково и недовольно замурлыкала Мурка,—себе лишние труды. Тяжеленный сундучище! Набил наверное в ужимку!

— Ой, право, нельзя, дружки! Товар — деликатной, секретной... Отсыреет от мокрети. Ух, и накачено там добра: на двести лет хватит! Довоенный! Нашинским, сесеркиным не маклачим!

И он засмеялся мелким закатыстым смешком.

— А что у тебя там такое? — любопытствовал Красноперов. — Нагрязнут архангелы: еще попадешься из-за тебя, здорово живешь, ни мало горазд!

Любим опять кинул серебром в прихожей.

— Не скажу, не скажу, дружочки! Помалу времени сами узнаете.

И вдруг сделал удивленные глаза.

— Я от своей вины не отказываюсь. Я такой. Ежели промах — так и так, сундук-де Любима, принес похранить, мы по-знакомству за стыд почитали бы не уважить человека...

— Ладно, говори там! — замурлыкала Мурка. — Беги, лось неумная, за другим мешком. Выстудил в квартире!

Любим усакал, оставляя в квартире, в сенцах, на темнеющей уже улице, будто мелкие дождевые пузыри на воде, круглый крупичатый смех.

Вечер прошел. Затворили изнутри ставни: заглушили дом. Поджидали Любима. Он не приходил. Порешили — не придет. Помешало-де, видно, лосю неожиданное обстоятельство. Времена были строгие, неверные.

Улегся Красноперов на перину, поджидал Мурку, заплетавшую на ночь нерастраченные косы, зевнул широко и скучно и сказал, думая о Любиме:

— Не завязила ли где, на самом деле, рога эта жублябия?

Мурка вместо ответа вдруг прислушалась, быстро накинула капот, взяла свечку и вышла из спальни.

— Что, что такое? — в испуге спустил ноги с кровати Красноперов.

Мурка вернулась бледная, потная, настороженная. И сразу зашептала, оглядываясь на двери и будто поджидая кого-то.

— На сердце у меня беспокойно. Тянет меня к сундуку. Сперва хотела узнать, чем это он нафаршировал его? Какой у него там товар? Потрогала давеча, с час назад, как запирали двери на крюк. Тяжелый. Едва отделила от полу. Что у него там — золото, такая тяжесть? Подняла край, будто там, что перекатилось... И чихнуло. Даже над собой посмеялась и не сказала тебе. А сейчас мне опять почудилось: будто лежит там кто-то живой! Пойдем оглядим, лучше будет. Может так, может и не так...

И пока шептала Мурка, она подкашливала и стучала подсвечником о ночной столик.

— Что ты чушь порешь! — рассердился и встревожился Красноперов, вставая с постели, и, сам не зная почему, выкрикнул это на всю квартиру.

— Тише, тише,— сказала Мурка и быстро вытащила из-под кровати топор.

Красноперов просмеялся и покачал головой.

— Бери, говорят! — резко шепнула Мурка и всунула ему топор в руку.

Застраняя свечу, они крались к сундуку. И чем были ближе, тем осторожнее, мягче, кошачье были шаги. Вблизи сундука они наклонились и замерли. Свеча тускло крапила зеленую боковину сундука, верх был темен, и только от вздрагивавшей свечи ползли по нему тяжелые тени и, казалось, сундук тоже затаился, тоже ждал... Стрекала нагорающая свеча, и Мурка, морщась, обжигая пальцы, не отводя взгляда от пламени, отрывала нагар.

И вдруг, настоявшись на месте, устав, продрогнув, они уже ничего не говоря друг другу, не глядя друг на друга, готовы были засмеяться, как явственно сундук пошевелился, тихонько что-то проволоклось в нем, тихо скрежетнул в нем какой-то звук, еще скрежетнул раз, и крышка медленно и осторожно начала приподниматься... Мурка вскрикнула и прыгнула на сундук, не загасив свечи. Пламя только помигало-помигало и встало полным светом.

— Выходи, выходи! — закричала Мурка, наваливаясь на крышку и одолевая какое-то упирающееся существо.

В сундуке завозились, затрепетало что-то, затолкалось, сундук ерзнул по полу — и с силой, поднимая Мурку, приподнялась снова тяжелая крышка, а в щель высунулись до локтей человечески руки... В одной руке был зажат револьвер. Человек из сундука выстрелил...

Красноперов испуганно что-то бормотал, схватил человека за руку, а тот бился в сундуке, все настойчивее и сильнее поднимал крышу — и выстрелил другой раз...

Тогда Мурка, прижимаясь к сундуку, царапаясь, ища одной рукой за что бы захватиться, а в другой руке храня свечу, крикнула неистово Красноперову:

— Руби, руби руки!

Красноперов отшатнулся, помедлил, занес топор, взмахнул — и с хрястом руки повисли поперек красно-зеленой боковины сундука. Человек взревел диким воем — и оборвался, простонал и умолк... Крышка сундука свободно захлопнулась.

Мурка, марая густой вишневой кровью капот, дрожа и стуча зубами, потея, долго еще держала крышку и не хотела отпускать.

Выждали и осторожно подняли крышку. Ткнувшись ничком на дно, вытянувшись во всю длину, в сундуке лежал человек в сером затасканном пиджаке. На дне, как вздрагивал он, хлупала кровь, растекавшаяся к углам. В боку сундука выпала малая полочка на крючке, и была в нее видна свеча. С откинутой крышки повисли два маленьких, теперь ненужных, черных крючка. И лежал рядом с человеком, будто длинный острый язык, тонкий поварской нож.

Мурка заплакала. Красноперов привалился к дверному косяку и стоял с топором, сочившим на пол красную капель. Будто выросла у него огромная правая рука, достигала почти до пят, — и дрожала и чуть раскачивалась в гнезде.

Сел Любим крепко в каменный мешок на околицу, понял — не выйти... И освободили в той ночи мукомола Красноперова от остальных богатств.

Вынесли из домишка на чекистскую машину маленький черного дерева сундучок, а в нем наполнилась навалом до поддона золотая монета, свернулись зеленые папушки заграничных бумажек и лежал посредине замшевый мешочек с самоцветными камнями.

Освободили Мурку от Красноперовских подарков — от золотых брошей, часиков, браслет, жемчужных четок на шею, оставили на развод четыре обручальных кольца. Сумела, говорят, кое-какую рухлядишку, хватит до смерти, укрыть на глазах!

Тогда и стало понятно: отчего ахал народ, как отбирали у Красноперова дом на Бивне и не нашли золотого добра, а на пустой банковской книжке нашли мелочь.

Отсидел Красноперов положенное за золотой сундучок, оправдали за зеленый сундук, вернулся в открытую к Мурке, разводит помидоры, пасет заанненскую козу, первую по красоте и племени в городе Овражках, только бел, как плотва с красными глазами, и молчит, будто не стоит говорить на свете по-человечьи.

ГОЛОВА

В Овражках на площади свалилась молодая женщина. Она была жива, дышала. Собрался народ, постояли, поглядели, пожалели... Женщина тяжело приподнялась, помогли ей сесть. И начали расходиться...

А я задержался. Не потому задержался, что был жалчивее других к чужому горю, много раз уходил и я, мельком взглянув на булыжник, на лежавшего в забытьи человека и затихшего на своей крови, как на кумачной подстилке. Я взгляделся в отходившее от смертной желтизны лицо молодой женщины, напряг свою память — и вспомнил. Я знал ее. Семь лет назад укрывались мы вместе от белых в одном южном городке, поджидали красных — и даже дружили. Но как неузнаваемо изменилась она! Да, да, это была Лиза Волкова. Я вспомнил, тут же, какой у нее был маленький застенчивый муж. Мы еще подсмеивались над ними, когда они приходили, держась за руки, на тайные собрания в подвал — и всегда сидели где-нибудь взади, сблизив свои кудрявые головы: он темные кудри, она, как сырую пряжу.

Захватили город налетом белые — и засели. Которых из нас переловили, которые успели уйти, которые опустились в будто глубокий колодец в подполье. Вызвался Волков пробраться с порученьем в наш штаб. Обложили в густую белые и тропки и дороги за городом,

словно в цепи лежали. Шатались белые по деревням, отвоевывали, у мужиков именья, мельницы, конные и сахарные заводы. Дёра шла в деревнях, лихоимство, пьянка. Кудрявый паренек пошел, пошла, конечно, и она. Пропали. Белым скоренько вбили наши в поясницу клин, убрались они со своими пожитками дальше, а нас погнало за ними... Не до Волкова: где он да как он? Семь лет и не видались. А увидались — долго распознавали друг друга: я, наклоняясь к ее исхудавшему лицу, а она, сидя на серых пыльных камнях посреди пустой, измученной солнцем площади.

— Лиза? Лиза Волкова?— крикнул я, обрадованный встречей.— Милая, что с тобой?

Я поставил ее на ноги, отряхнул кофточку, она схватила меня за пальцы и побрызгала слезами. Повел я ее под руку. Дошли мы до ее квартиры. Вошли в комнатушку: лежал в уголку на детской кровати больной ребенок.

— Скарлатина у него,— сказала Лиза.

Были у меня свои ребяташки. Испугался я втайне за них, но промолчал и сдержался перед товарищем.

Провел я у нее памятный денек. Понял я и неудобу ее, и отлившую краску с лица, и глаза замученные, как у надорвавшейся с возом лошадки; понял я, отчего так в тесную непроницаемую клетку иссеклась белая кожа на лбу, а поперек залегли тугие морщины, и нос заострился, будто его очинили ножичком и перетянули на горбинке. Узнал я про нее все.

Шли они ночь полями, по бороздам, отсидели день в пшенице, поспали вечером и тронулись дальше. Миновали уйму всякой белой солдатни. На свету перебродили маленькую речку, в тумане, к другому полю, чтоб залечь на день, и наткнулись сначала на коней. Те заржали. И сразу к ним подбежало пятеро казаков.

— А! Я ево знаю! — крикнул один казак, кидаясь к Волкову.

Чорт его знает, почему он так закричал. Конечно, он его не знал. Волков погорячился, выдернул из кармана браунинг, — а выстрелить и не успел. Повалили Волкова, побили, поволочили по земле, нашлась у них веревка: связали. Четверо казаков возилось с Волковым, а пятый казак держал Лизу в обхватку. Что может сделать маленькая женщина с большим и крепким, как полевой камень, мужиком?

Туман пооблегся к земле в ложине. Увидала Лиза костер в ложине и котелок на нем с белой пеной. Казаки варили какое-то варево, оно вскипело — и теперь уходило. Таща ее за руку, казак снял котелок и выругался:

— Суки, пищу из-за вас чуть не испортили!

Положили недалеко от огня Волкова, подвели ближе коней, поглядели на Лизу насмешливо, взлохматил ей один казак кудри и ущипнул за грудь. Постарше казак раздраженно проговорил своему товарищу:

— Чево дураком стоишь окол: вяжи ее!

Казак огляделся кругом. Сняли с коня уздечку и насмех связали Лизе ноги. Казаки были трезвы, молоды и мало злобивы. А Волкова несла горячка. Он, как увидел казацкую шутку с Лизиными кудрями, завертелся на земле, закричал без памяти, поносил казаков бранными словами, грозил, стращал... Лиза делала то же всегда, что делал он. Лиза сидела у костра со связанными ногами, рвала уздечку и кидала в казаков обидные бабьи несуразности.

Те сначала хохотали на ненужную смешную брань товарищей, а потом надоело, они переглянулись, помрачнели, хлебнули по ложке из котелка — и зашептались.

Вскочил постарше казак, пнул сапогом в лицо Волкова, обливая его кровью, и зло сказал:

— Будет разговоров! Вали ее, ребята!

Лиза поняла. И не успела подать голос — ее опрокинули...

— Некстати уздечку завязали, — бормотал молодой казак и больно рванул уздечку к себе.

Лиза открыла глаза. Лежа на том же месте, плакал навзрыд Волков. Казаки суетливо наливали в железную кружку из большой баклажки водку, плескали ее в дрожавших руках и опрокидывали духом, будто туша водкой поднимающуюся внутри жажду. Они не глядели на Лизу, отвертывались. Платьишко на ней было одернуто. Лиза поползла к мужу... Но не доползла. Казаки спрыгнули... Один взмахнул над ней нагайкой... Лиза припала к земле. Казак прижал ее... Другие вздернули на ноги Волкова.

Лиза едва раскрыла глаза, как сверкнула серебряной рыбой шашка, будто проскочила через шею мужа и помазала хвостом его по плечам... Он только обрушился, как эта маленькая женщина скинула с себя казака, протянула руки — и не могла больше переступить на месте, валясь... Казаки кричали. Один пнул к ней голову мужа и взвыл безумевшим голосом:

— На-а, поддержать!

Красная кладь докатилась. Лиза схватила голову — и больше ничего не помнила.

Проснулась она, все было пусто и тихо на лужайке. Пекло солнце. Голова маленькая, сморщенная, почерневшая валялась в ногах...

Потом через год она припомнила, как она тогда встала, не узнала Волкова, забыла обо всем. Просто встала и пошла. Пришла в деревню.

Ее расспрашивали, а она привела в поле мужиков и показала на мужа:

— Казаки человека убили...

Лизу пожалели в деревне, отвезли в какой-то городишко — и тут она снова ничего не помнила до родов. Очнулась она в родильных муках. Родился мальчик, который лежал теперь в скарлатине. Лиза не знала — чей это ребенок: его или казаков! Я невольно взглянул на дремавшего мальчика: он походил на нее, будто повторяя и эти кудри, и кругленькое лицо, худое и печальное, и этот маленький нос топорком с горбинкой, и этот пухло открытый рот.

Дальше Лиза кое-как перебивалась с ребенком. Работать она не могла. Находило на нее легкое изнеможение, билось, будто закипавшая вода в сосуде, сердце, валилась она, где шла, отлеживалась, так повторялось раз, два, а потом ее безумную отвозили в больницу.

В ужасе она шептала мне:

— На меня опять надвигается: сегодня был первый обморок!

Я никогда в жизни не чувствовал себя так горько, как в этот неожиданный день. Лучше бы его не было!

Придя в себя, Лиза помнила только своего ребенка. Мальчика приютил брат — железнодорожник - телеграфист. Был у нее еще параличный отец. Лежал он у старшей своей дочери, многосемейной, нищей, десятый год — и молил смерти. Так она и прожила до этой встречи со мной. Она рассказывала, а я думал: что же партия? Но разве партия может сосчитать все свои жертвы? Нет, не может! И Лиза никому не сказала о себе.

Я оставил ее у больного мальчика со стиснутыми и пенившими слюну губами.

Через неделю я зашел к ней. Встретил меня брат ее и провел в пустую комнату, где я был в первый раз.

— Как? — спросил я. — В больнице? А мальчик где?

Брат мне ответил угрюмо и жалко:

— Лизы больше нет на свете. Третьего дня мы ее похоронили. Одна смерть за другой. Умер от скарлатины ее Петюшка. Потом убралась она. Выкинулась из окошка.

Брат помолчал и тихо добавил:

— Судно было с пробойной... И больше ничего. Не знаю, как и отцу написать!

Я молча постоял, словно передумал всю ее жизнь, сразу и свою заодно, позвенело у меня в голове, и я посоветовал брату отчаянно и плаксиво:

— А вы не пишите!.. О чем тут писать?..

Немного погодя заболели скарлатиной мои ребяташки. То ли я принес от Лизы заразу, то ли кто другой, то ли сами поддели, бегаючи: не знаю. Смерть и ко мне вползла как-то ночью: унесла сына. Но не осужу товарища, ежели от страшной этой встречи свалилась тяжелой ношей на меня горбатая печаль.

КАЗНЬ

Я будто схватил мое сердце рукой и выжал его: так была сильна моя жалость к этим людям...

Наши Борки переходили из рук в руки. Старый дом наш дрожал от выстрелов, словно напуганный человек. И меня бил озноб. Я видел, как чаще и чаще огненный еж раскрывал крыши у соседей, сваливались в черную рану балки, стропила, накатные бревна, выскакивали люди со дворов, бежали, нагибаясь, по улице, падали на землю, прижимались к ней, будто прося у нее защиты и пощады.

Мы прятались с женой в подвале. Но темнота была непереносима. Глухой гул был жуток, как идущая во мраке навстречу весенняя река. Мы метались по двору, на огороде, ложились между гряд...

На третий день, стихая, откатываясь за предместья, глушея, стрельба задохнулась. И замолкло все в Борках к ночи. Мы даже слышали, как сторож на кладбище вдруг ударил полночные часы.

Утром пришли белые. Они шарили по всему дому. В подвале, на беду мою, нашли они заплесневелый ящик со всякой охотничьей рухлядью, негодную берданку и новенький в кобуре ноган, правда без патронов, забытый у меня родным моим братом год назад, когда он приезжал ко мне на побывку из армии. Никто, конечно, не поверил мне, смеялись и злобились, тыкали мне

в лицо ногом, оттолкнули жену прикладами, поставили меня между двух солдат — и повели.

Отходя от крылечка, заботливо и деловито спросил мой конвоир у старшего, лазившего с обыском по дому и теперь трудолюбиво отряхавшего около меня измазанные подвальной плесенью шаровары:

— А, может, кончить?

А тот, не взглянув на мое сразу позеленевшее лицо, лениво и вяло отмахнулся рукой:

— Не-е!.. Ужо всех вмистях сподручнее... за городком!

Что думает приговоренный человек, того нельзя передать... Не смочь, не выплакать!.. Но прошел день, другой и третий — меня не трогали. Со мной сидело еще два человека. Нам швыряли в маленькую круглую дыру в дверях, будто окно в пароходном трюме, черный хлеб, селедку и свежий лук, подавали воды, выносили мы попеременно парашу... О нас заботились... Хватая мою долю, я жадно съедал ее, я ревниво следил, чтобы мои товарищи не выпили лишний ковш воды и не сорвали лишнее перышко лука. Пищи было явно недостаточно, и я, приговоренный, я, три дня уже мертвый, напоследок не хотел отказаться от своей части. В том, что нас кормили, в том, что мы ели, может быть, было самое страшное. Об этом я уже подумал потом, но тогда, — даже какое-то минутное умиление ворочалось в сердце к большой, путаной бороде солдата, мелькавшей по ту сторону лазейки, подававшего нам, смертникам, скудный паек. Он наверное даже отрывал себе от нашего обеда! И делал это спокойно и просто, а, окончив дежурство, укладываясь на свою лавку и набираясь новых сил для скучной охраны, задушевно посапывал носом. Спали и мы...

Я, приглядевшись на утро, узнал в моих товарищах бандитов, о которых боялись думать в Борках еще

несколько дней назад. Они убивали и насильничали в городе всю зиму, неуловимые, как лоси в темноте. Но как-то они попались красным... Их вели по Боркам, и народ бежал толпами за ними, тяжело всматриваясь и голодая карой. Я тоже видел их...

На меня нахлынула величайшая горесть: я делил с ними пищу, пил из одного ковша, дышал их дыханием, ходил на одну парашу! Я, шатаюсь, разглядывал грязные ногти убийц, как они рвали вонючий сельдь, мешая, мне казалось, рыбий сок с налипшей под ногтями и затвердевшей человеческой кровью! Особенно мне запомнился один: у него было кривое плечо, и пиджак висел как-то беспомощно и жалко на изгибе. И у него были мокры руки от чужой крови! Я не признался им. Я затаился.

Они встретили меня, помню, молча, прищурившись, будто заглядывая в меня,— и мельком переглянулись. Было понятно: отступая, красные не успели убить их. Еще до того, как я узнал их, я рассказал о себе. Они жалели меня. Тогда и я выпрашивал их. Они прикинулись: один лоточником, а кривоплечий — мелким торговцем. И выдумали историю: побуянили спьяна, посадили красные, пришли белые, привели с собой других сторожей, утихомирится город, разберутся в их деле — и выпустят...

А на утро я понял все.

Они надеялись обмануть белых, они надеялись уйти от казни! Я даже улыбнулся на эту уловку. О, как хочется жить человеку!

Они пели и галдели во весь день в камере, смеялись, утешали меня. Я не владел своей печалью. Мы обманывали друг друга. И вот вдруг сердце мое перестало чуждаться их. Они были молоды, обычны, как и все люди, они пели, а голоса их плакали для меня, они

играли передо мной, ухороняя от меня правду, будто глядя уже на свободу, будто уже снова живя и, может быть, ужасаясь на прошлое. И тогда я захлебнулся жалостью.

Прошел день — и нас не кормили. Ушла куда-то охрана. Толкая друг друга, мы стучали кулаками и ногами в двери. Ночью было слышно, вдруг обваливались вдалеке, как в каменоломнях горы, пушки. Мы сидели в темноте. Они засуетились, зашаркали по камере. Еще днем они робко пробовали руками решетки, застенчиво косясь на меня, теперь безмолвно, спеша, задыхаясь на всю камеру, повисли на решетке, ломали ее, выбивали руками кирпич... Решетка не поддавалась. Они перебежали к дверям, выбили деревянную ставеньку в дыре, долго раскачивали двери, словно грызли зубами, как литое окаменелое дерево — и только могли просунуть на свободу бессильные руки.

Вытянув шею, я слушал пушки за городом, я торопил их, мне чудилось, они бежали к Боркам, а мои товарищи стонали и напрягались разломать дорогу, уйти от этого освобождающего гула ночной битвы.

Они, будто забыв меня сначала, вдруг вспомнили, и настойчиво, паля угрозой и ненавистью, закричали:

— Ломай! Ломай двери! Уходим!

Всю ночь мы бесцельно ломали двери. Они устали, обессилели... И еще больше устали они от того, что пушки стихали — и стихли.

А на другой день в коридоре затопали, и в развороченную дырку выглянула знакомая борода солдата:

— Што, ребята, никак сидите?

Солдат удивился, осмотрел нашу ночную работу, покачал сочувственно головой и засмеялся.

— Ка-а-к место-то испа-ко-ще-но, бродяги! А столько нет! Держите, хлеба сичас дам. Проголодались, поди!

Мои товарищи присмирели. Руки у них были в крови и ссадинах. Я был невольником и работал обманывая, не трата моих сил. Я верил в освобождение. Мне стало жаль: я просчитался.

Солдат выкинул ковригу хлеба, начерпал в поднесенное нами ведро из бадейки воды и недовольно пробурчал:

— Нехорошо, ребята, сделали с дверям. Уйди вы — сказали бы — молодцы! А нехватило кишки — вам же хуже... Дело ваше теперь, ребята, табак... Раз ходу хотели дать, видно, большая за нами вина, огромная!..

От слов этих у меня ясно и твердо обозначился охолодевший хребет. Я застыл на своей наре в отчаянии. Кривоплечий поморгал на солдата, ухватил себя за шею руками, стиснул ее — и хныкнул, роняя слезы на измазанный известью пиджак, а другой ожесточился и на него и на солдата, заревев, как тяжестью придавили ему ногу:

— С-с-сво-ло-чи!

Солдат загоготал, показывая гнилые, острыми корешками, зубы.

— Не играй зря в орлянку, — пренебрежительно подразнил он въедливым голосом. — Шум зряшной! Вот заклепаю, погоди, дырку лучше прежнего!

И начал приделывать выкинутую ночью за двери закрывашку.

Стихли и осунулись мои товарищи. Меня разминала на части тоска. Ночью мне снилось — бежал я, бежал от погони по Боркам из улицы в улицу, через площади, через дворы, через садики, по мостам, а за мною почему-то гнались грузные, грохочущие, медные пожарные машины. Я проснулся в сырой испарине, прислушался, кто-то из них бредил, быстро-быстро-быстро выговаривая:

— Лес, лес, лес, лес, лес...

Видно, и он бежал. Я не мог больше закрыть глаз. И еще три дня нас никто не трогал. Белые садились надолго.

И тут случилось незабываемое для меня. Что-то толкнуло меня в одну ночь, словно подошел человек к нарам и разбудил. Начинало светать. В камере было серо и смутно. Будто ночью долго курили и дым закрыл потолок колеблющимся пологом, дым поднимался из углов жидкими метлами, как в дымоходе, и подкуривал полог: то были сырость и свет. Сидя на наре, в другом углу, вполголоса, но я расслышал каждое слово, мои товарищи совещались. Кривоплечий говорил:

— Может не выгореть. Кто тебе поверит, что сам удавился? Душить сначала надо. Будут следы...

Как обложили меня всего льдом, обмер я, слышал я каждой каплей моего тела. Если бы они говорили дальше, осторожно шепча друг другу на ухо, то, казалось, и тогда бы они не могли укрыться от меня. Я слышал, как плавала в камере тонкая и острая на язык сырь.

Кривоплечему другой, сердясь, ответил:

— Ты — дуrolом! В такой перепалке разве станут разбирать? Заперли его сюда, а у него остался и пояс и помочи. Ежли он так, савося, а не сыщик, мы вылезем под торговцев. Без этого нельзя. Пойми, он здешний. Он, может, прикидывается. Жив он будет, придут разбирать, кто такие да за что, он и ляпнет. Свою шкуру спасет за это. Его надо убрать. Все дело спортим: боюсь я его. Без него — надежи у меня овин. На пояске да на помочах и кончим его.

Да, у меня были и пояс и помочи! Я едва не закричал, но сдержался, костенея, чтобы не пошевелиться. Говорили обо мне.

Упорно твердил кривоплечему другой:

— Я смекаю больше на то: он сыщик. Его к нам подсадили. Значит, нас ищут. Он мельтешит изхитра. Помнишь, выпрашивал! Не проболтаются ли? Дверей не ломал... Глядит испытующе... Выходит, нам неминуемая. Не сразу, а дойдут до нас, попытаются. А то, той порой красные придут. Ну, как он нас опознал, сидит до полной улики? Глотать нам и красную и белую пулю... Так его, гада, пришибить следует напоследок. Только на случай... на маленький случай... из ухороны подвесить... А то можно бы прямо за машинку, чтобы не пропустить часа...

Они передохнули, замерли, окинули меня косиком и заговорили тише. Теперь говорил кривоплечий:

— Не походит он: больно глуп. И глаза в испуге. К чему возиться? Прогорим, как богатые. Он не помешает нам. А убьем, тогда наверную не выпустят, разбирать начнут, таскать по городу, в городе увидят — разберутся. Рискнем так. Щель одна у нас светится: ты и ее заделываешь.

Злел и шипел на кривоплечевого товарищ:

— Здешний, пойми! Ошибка — чорт с ним. Не дерутся: надо придушить чисто — и подвесить. Сыщик — потешимся. Уведем за собой одного умного на память. Враг ведь. Другой такой нагнал нас. Он спит... накинемся... и перепехнем на тот свет. Разбору бояться нечего, когда зря смаклячим. И не будет никаких разбирательств. Только сыщик он. Оставлять не при чем — смехота! Думаю я: отсюда нам квартира одна — земля. Кидай кости!

И немного помолчав, вдруг кривоплечий согласился:

— Видно так... Чтобы не заорал, надо сонного. В уме будет — не стоит и начинать, порча явная. Опоздаем — нагрянут — откроют — перекусим горло при всех, глаз закатить не успеют...

Но тут я как-то собрал силы в себе, будто напружилась какая-то стальная машинка в груди, щелкнула, подкинула меня на нарах, я закричал долгим гремящим воплем, прыгнул к дверям одним прыжком, хватая и опрокидывая ведро с водой,—и забил, застучал, ревя, в дверь.

Они растерялись... Кривоплечий трусливо полез к себе на нару, а другой, повертевшись на месте, кинулся на меня. Я оглушил его ведром по голове. Ведро ударило ребром. Он схватился за мокрый пробой... Тогда, зарывав, извиваясь, скатился с нар кривоплечий и успел зажать мне рот. Он успел меня, хрипящего в ладонь, свалить, другой, как опьяневший от пролома, тяжело опустился ко мне на грудь коленком... Они срывали с меня, затянувшийся от рывка в узле, пояс... Но к дверям уже бежала разбуженная охрана. Меня отняли... и, в слезах, вывели...

Я будто в каком-то дыму качнулся, меня тепло и тесно сдавили солдаты, кто-то закричал далеким убегающим криком, и я захлебнулся, куда-то валясь-валясь-валясь...

Должно быть прошло несколько часов, когда я очнулся и сел на нарах. Тот же караульщик-солдат недовольно и осуждающе сказал мне:

— В тюрьме, дьяволы, и то без драки обойтись не можете! Что делить-то, кажись? Мы им наподдавали — кашлять не перестанут до морковкина заговенья, кровинка на мордах осталась, зарубки. Недосып из-за вас всем! Я вот ровно на карауле, а на самом деле в няньках. Гляжу тебе в рот — помираешь али оздоравливаешь?

Я огляделся: та же камера, но соседние нары были пусты.

— Где они? Где они? — закричал я, вспоминая и содрогаясь.

— Ишь хватился! — засмеялся солдат. — Отплатить хошь? Зря. Мы им сунули. Они двое на одного, а мы на них семером. Офицер тут приходил. Разбирался. Выгнал их к чорту! Ребята от красных пострадали... И от нас им перепало... Пошли отсюда, будто старики на богомолье: ноги больше назад идут, чем вперед. И тебя велено вытурить, когда язык к тебе вернется.

— Что они сказали? Что они сказали? — бормотал я, слушая и не понимая.

— А то, что ты бесноватый... с кулаками на них спросонья полез... Они и отпехнулись через край... И дверку знаем из-за чего ломали: от красных с перепугу собирались утекать. Нам это на руку: свои ребята. Ну-у, почувствовался? Вставай! Баба твоя тут была. Обошлось хорошо — и ладно!

Я не верил, вставая и шаря свой пояс. Солдат запирает камеру. Я уходил. За воротами меня поджидала жена. Она нашла меня в тюрьме. Вымолила меня. Отдала белым нашу маленькую копилку — пузанчик-монах с золотыми монетами.

Все прошло, улежалось, но с тех пор я научился закрывать ночью глаза. Сплю, глядя перед собой, и не видя и сторожа.

Мерзок бывает человек!

ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ

Дали нам николаевок и послали в тыл к белым. Из двух десятков нас, покуда кралась туда кротами, уцелело немного больше половины. Углубились мы в сторонку верст на двести и пришли в темный волок: никто не считал, сколько в нем расстояния. Заночевали табором. Осередь дня наткнулись на нас зеленые. Попадали мы друг в друга впустую, прячась за елки да за сосны, потом сошлись на любовной и составили одну общую банду. Уж мы потрудились! Обеспокоили мы вражеский затылок: подрывали поездишки, насакивали на именья, каверзили по станциям, жгли вещевые склады, сперва пограбив одежды и провианту для поддержания существования, пускали на воздух оружейные склады, ставили к стенке офицеры, привели два штаба целиком на волок и зарыли в губземотдел. Легли и наши в стычках. Слава о нас прошла по всей белой армии. Резерва у нас стало не в проворотную. Искали, искали нас белые, гоняли конницу, пехоту, артиллерию, добивались до землянок, а мы уж на другом конце. Однако зарывались на месяц, на полтора: не показывали носу, будто ушли совсем.

В трудные передраги, когда долго не попадалась белая добыча, приходилось малость и мужиков обижать. Забирали хлеб, живность, коней. Беспременно уплачивали николаевками. Обида была в том: у мужиков

драли белые, самим мало оставалось, а тут хоть и за деньги, давай из остатков и нам. Не любит мужик, ежели у него пустой сусек! Ничего не сделаешь — война. Провертывались дела и похуже: с бабами.

Тут мы себя сначала не уронили. Понимали все: отвернется от нас население, к настоящим бандитам причислит. Жалко было ребят, а выводили публично — и кончали. Не только в деревнях. В усадевке одной партизан барскую девицу обидел, невесту... И за нее наказали. После перепалки на глазах у матери и у порченой на веки-вечные разложили лежать парня.

Проработали зиму. К весне мы возмужали в лесах, окрепли, рожи лопнуть хотят, мордачи, заросли шерстью, мурло маслянос, кровь приливает к брюху, все чего-то недостает...

Ребята между делом начали выходить на опушки, на дороги, на лужки за бабами. Пользовались — где по согласу, где с перепугу, а где и по приказу... Отправляем друг дружку на тот свет, а глядишь один — другой опять попался. Чуть весь отряд сами не кончили. Некоторые ребята бежать, некоторые за винтовки, междоусобная...

Командир — матрос Дуля — крепкий был боец, один, пожалуй, и не распустился. Порешили молча беречь деревенских баб, порешили пробавляться городскими — меньше огласки. Ну, што тут поделаешь, раз натура просит и воевать мешает! Разум одно вталкивает, а делаешь по-другому. Конечно, малость опорочили себя. В других местах мужики от обиды в рукопашную, с кольями, с дробовиками.

Дуля раз, чуть мы не убили его сгоряча, уложил на стоянке после таково случая Димку Слухача. Уложил, пыл у нас в бегство, рвет командир грудь на себе, плачет и кричит:

— Што мы делаем, што мы делаем, сукины дети. Собственное дело губим! За што боролись?

И навзрыд. Кто-то несмело подал голос:

— Водоносом его! Расквилился! Долой из командиров плаксуна!

А какой он плаксун — знаем; против всех пошел в дремучем лесу, дырявый от пуль, поперек башки яма от прежних дел. Видимо, уж очень тяжело приспичила беда да горе орла! Победил нас: оставили в командирах. Димку Слухача — маленький был, вертлявый, — не поминули больше, вычеркнули из памяти.

Вышли и мы за десяток верст с другом Степкой Колесом, а меня звали Фунтик — был я прежде грузчиком в Нижнем — вышли в лощинку и ждем. Волок наш пролегал между двумя городками: повыше одного городка фронт был, другой городок в тылу, а мы на перегибе. Верст пятьдесят дыра.

Утро такое розовое, веселое, кудрявое — и лес кудрявый и облака кудрявые... Глушь и тишь. Только что птицы летают. Теплыню от земли обдаёт, от ветерка солнце накаливает... Присели в кустарнике — и нюхаем. Глядим, едут тихонько два возницы, оглядываются, а на лошадках две молоденькие бабы с сумочками, в шляпах, в серых пальтишках. Мы на дороге... Оружья на нас навешено до отказа. Рожи у нас облезлые, хмурые, страшные... Бабы перепугались — и слова не могут сказать.

— Заворачивай, — говорит Степка возницам и посылает на лощинку.

Те, будто бывалое дело, бессловесно в сторонку, — и тележки покатали подальше от дорожки.

— Вылезайте, дамочки, — опять говорит Степка. — Приехали.

А меня трясет. Бабенки блее чаек, вылезли, стоят и на оружие наше глядят. Я взял ближнюю, Степка подалше. Повели мы баб в лес...

— Кормитесь тут. Откладывайте! — приказал Колесо мужикам. — Ускачете — обратно не прискачете. Найдем!

Возницы начали откладывать лошадей и засмеялись:

— Куды уж скакать! Делайте свое дело без замедления. Мы подождем...

Бабы не поняли... Мы их в лес ведем, а они, как овечки, плачут, просят нас:

— Не убивайте! Не убивайте! Возьмите все!

И вытаскивают дуры деньги, часики, пальтишки снимают, суют нам. Степка для острастки и штобы темные наши намерения пока што скрыть и рявкнул на них:

— Молчать, белая гвардия!

Замолчишь в таком положении! Отвели мы баб поглубже в ельничек и говорим — так и так, в лесах живем, и то да се и другое, смертоубийств делать не хотим, хотя и должны уничтожать врага, но баб не бьем, распалены де... Мололи всякую околесину.

Баб в жар, в огонь, не верят, переглянулись, даже повеселели... Моя опустила глаза, моргнула потом на меня облезлого, будто испытующе так, а у меня губы ходят, не стоят на одном месте, руки в карманы не попадают, и говорит — шепчет:

— Я сог-лас-на!

Смешалась вся, бегают глаза муравьями по земле, горит от стыда. И я горю. Другая баба скорее освоилась — и торговаться.

— Ежели дае_слово, что не убьете, я тоже согласна. Мне тяжело... Я несчастна... Но согласна.

— Даем! Даем! — кричит Степка.

Познакомились мы с бабами за день. Оказались бабы — офицерские жены. На фронт ехали к мужьям — про-

ведать. Съели мы у них всю дорожную провизию и подарки мужьям и печеным и вареным, обобрали и остальное. Разузнали о белых все, что бабы развязанные языки болтали, наврали о себе — тысячи-де нас собралось в лесу, скоро ударим, Колесо даже песни пел...

Возницы выпалились, наскучались, поджидаячи, а мы по переменкам выходили из лесу и казали им оружие. На вечеру отпустили баб.

— Поезжайте во-свояси,— напутствовал их Степка, посмеиваясь,— везите мужьям гостинцы. Никому только ни гу-гу. Встретимся другой раз, не так деликатно обойдемся за язык. И вам срам. Поправить нельзя: слезы напрасные. Состоялось по сговору, без насилья. Мы пугнули, а вы обробли зря: ничего бы и не было, угадай вы ловушку. Деньги бы только забрали. На себя плачьтесь: проиграли ставку.

Врет, животина, и не краснеет! Бабы подумали и, на што в плену были, засмеялись на вранье.

Провожал Колесо свою бабу на лошадь, а я натягивал на себя амуницию. Моя стоит и дожидается. Я сперва обробел, как она мне лишь и скажи решительно так: не ожидал от смиренницы!

— Я не поеду. Я с тобой останусь. Теперь мне все равно. Я бандитская жена.

Был я с ней во весь день кроткий и ласковый, и — характер у меня такой — скребло у меня на сердце от худого дела, думал о ней скорбно, жалел, не сказал грубого выражения, будто настоящий муж, по грибы вместе пришли, али после долгой отлучки в лесу встретились. Ну и отлилось мне! Вижу дело дрянь: этого бы еще не доставало! Я сразу обнял мыслишками конфузное свое положение, нашелся, выволок братишку, качнул его к личику ее и погрозил:

— А этого хочешь? Разложу, слово давши, за такие новости! Марш, пока до срока!

Отшатнулась и, забрав юбки, пошла скоро-скоро-скоро. Я даже вспотел от такой душевной натуги. Дальше — того пуще удивление. Шла-шла... Из-за ельника лошадей видно. Мужики поспешают, заждались, закладывают... Остановилась, положила мне ручки на грудь, взяла за ремень и шепчет:

— Ты такой злой, Вася, не ожидала! А я шестого июня, через две недели, поеду обратно от мужа. В это же время. Выходи. Поговорим.

Высчитала, гляди, число, куда шла. Я не рассердился и захохотал:

— Ладно! Ищи-свищи!

Пробирались мы со Степкой к своим. Тот зудит, глумится. Я молчу. Не разболтал Колесу своего секрета.

Вдруг и говорит Степка:

— Откроюсь тебе: наградил я ее. Век будет помнить! У меня люза.

Сказал он, чувствую я — перестал он мне быть другом, резнуло по сердцу в продольную, не ответил ничего, только малость посторонился. И стало мне жаль бабу, хоть и чужая была, и хитрая, и злая по всем видимостям, и расчетливая. Не знает она о беде, может, едет, думает, а этот гнилой и поганой Степка смеется над ней и плачет над собой. Отворотило меня от Колеса. Потом по пятам зарубили его в стычке. Подумал: будто так и надо.

Позабыл в делах о бабе, а нет-нет да она и выплывет. Ловушку, думаю, для отместки подготавливает. Как не ожидал от нее первого разу, так и второй от нее ожидать можно. Постой, думаю, проверю, не попадусь в мутную воду, как налим — в деревне ребятами мутили бочаги, налимы наверх вылезали. А чево проверять?

Суровость - то была поддельная, больше от перепугу, она, баба, тоже зацепила меня за сердце. Пойду не пойду, нет пойду, нет не пойду.

Утречком подкрадываюсь к лощинке, обошел ее дугой, выглядел дороги со всех сторон — пусто. Обшарил лесок, всю землю выслушал ухом, что она говорит — молчит все. Подполз к ложине, а в ней лошадь кормится, краля моя с мужиком чай пьет. И мужик тот же. Забеленился я вместо радости — и на нее и на трусость свою. Помыслил: взять ее на мушку — и конец непонятному. Опасаюсь все же. Просидел с час. Баба глядит в кусты. Уставится на мой куст, будто видит, прислушивается, скучает... Пошла в лес на прежнее место, а я уж там раньше шастал, осматривал, искал засады. Она прямиком, а я кустиками, тороплюсь, бегу, обгоняю... Укрылся за деревьями, подглядываю... Села она на наше старое логовище и вздыхает. Тут я и вышел. Бросилась, повисла на шее гирей, руку о ремень в кровь рассадила, подорожником прикладывали, я тоже ее обнимаю и целуюсь.

— Вася, — говорит, — знала, придешь!.. По глазам видела...

Так все лето через две недели в лощинку и катала ко мне баба. Нюрой звали. И мужик тот же. Брал мужик за секрет втридорога. За руку мы с ним здоровались. Он меня Василием, я его Кузей.

Маялась Нюра с мужем. Потерял он ногу на войне.

Любил ее раньше. Калекой стал, обессилел, ревновал, не давал житья, извел... Муж ярый был — без ноги, а сидел в белом штабе, командовал, грозился в нашу сторону. Машет ветряная мельница крыльями, а ее под ноги подрезывают!

Так моя баба до мужа и не добиралась: дневала в лощинке — и напопятную. Провожал ее от своих же

ребят по другим овражкам и опасным укроминам. Узнал я про Степкину каверзу: заболела женщина, сказала мужу — на постоялом-де дворе, должно быть, закусывала, от посуды заразилась, не поверил, сам страдает, она страдает... Подгорела семья без дыму, без пороху!

Нельзя было мне взять Нюру с собой, не полагается быть бандитским женам в шайке — это я внушил ей. Она о будущем толковала, конца войне молила, любила меня всерьез, и я не меньше. Схлестнулись на дороге два листа — и несет их, несет ветром, неизвестно куда занесет.

Заело так, чуть двоих товарищей не порешил. Сидим мы так однажды в лощинке — и нагрянули ребята. Тоже вышли на охоту. „Откатывайся — говорят — тебе будет“. А я на них с оружием. „Моя, моя баба. Живу я с ней давно“. Ходили, ходили петухами: обошлось. Они плюнули и ушли. Нюра на подмогу мне второй мой пистолет в руку. Чуть удержался: не побил ее за это!

Проколотили красные вражеские затворы, сшибли врага с места, завернули его лицом от себя и погнали по спине, куда бежать можно. Прискакал о том к нам гонец на волок. Мы из леса налет за налетом, набрали коней, взлезли на них кто во что горазд — и стала лесная конница.

Мимо волока стадом, гуртом, будто с пожара, бежали белые. Много их легло. Рубили мы и в знакомой лощинке, и выше, и ниже, и отступя, кувыркали обозы, орудия, зарядные ящики, забирали офицеры... Мы были наверху. Допрыгались белые.

Кончалась потасовка. Радости нашей не расскажешь и не обнимешь словами. Изъянили мы кой в чем по обстоятельствам, а дело делали, бились, помирали, не вздохнув, пощады не плакали и сами не давали, ежли от сердца не попросят. Не до Нюры, конечно, было.

Проскакал я раз лощиной — и мелькнуло: кончили баловаться, в другое место погонит революция заканчивать мелочишку разную. Прощай!

А вышло не так. Застрял я в городишке за волоком на отдыхе. Устали мы, будто много перегонов пробежала лошадь без остановки, шатается, пена на морде, ноги подгибаются... Угнал, думаю, деревянная нога, Нюру далече — не всех еще порубили белых. Где бы она тут жила поглядеть? Дурацкая такая охота! Для чего спрашивается? Было — и прошло.

Искал по всем закоулкам. Так месяц на четвертый столкнулись на рынке. Покупает снесь разную. Кошелка на руке. А сама худая, бледнушая. Нахватали ерунды всякой — моркови, луку, помидор — „деревяжку кормить“ — мои слова повторяет — и бегом ко мне: долго не видались...

Офицеришку пощадили из-за ран: писал он у нас в военкомате отпуска красноармейцам.

Ушла от него совсем ко мне, развелась, расписались мы в загсе — зажили. Два года жили. Я осел в городишке. Окопался. Не удалось до ребят дожить! Раздобрела моя Нюра. Работенку для партии вместе со мной делала. Пошла бы за мной в новую гражданскую, будь она, не ровен час. Пошла бы не только по любви, а по сердцу. Перефальцовал я ее. Податливая и была. Сорвалось!

Не вынес деревяжка писать отпуска красноармейцам, выскочила еще раз из оглобель барская кровь, залез к нам на квартиру, меня проткнул пулей у дверей, отмыкал я ему, не знаячи, засов, а ее, на сносях была, спала, пристрелил на постели. В чувство я не пришел три дня, без меня и похоронили с музыкой и с красными флагами. Нас застрелил и сам застрелился. Да, сорвалось!

И вот скажу я што напоследок.

Проезжаячи к себе на родину окол лошкин, вышел я с лошадей... и всплакнул, братцы.

ТАРЕЛКИ

Шла война. Приехали мы на гастроли в богатый губернский город. Играли хорошо. Сборы были полные. Я со сцены заметила в первом ряду пожилого красивого мужчину. Он бывал на каждом спектакле — и ни разу не поднял рук, чтобы рукоплескать нам. Когда мы выходили на вызовы, он как-то осторожно и чуть касаясь потирал руки и внимательно рассматривал нас. Я, помню, досадовала.

Потом он пришел за кулисы, перезнакомился с актерами, стал завсегдатаем по нашим уборным — и я увлеклась этим человеком. Это был помещик — театрал Костин.

Прошел месяц странно, тревожно, будто весенний непроницаемый ливень. Но ярче других помню один день.

Кончили мы последнее представление, ночью подали четыре тройки к театру. Лошади были украшены лентами и разноцветными бантиками. Бубенцы и ширкунцы, как бисер на старинном женском платье, поблескивали на сбруе, на уздечках, под дугой, как нитки жемчуга охватили шеи коней ошейники из мельчайших в горошину колокольчиков. Лошади не стояли. Казалось, они трудно удерживали на себе звенящую тяжелую ношу и вздрагивали, стремясь ее скинуть. У театра стоял шум и тончайший плеск, словно то стояли не тройки, а лились где-то невидимо многие фонтаны. Кучера сидели в белых заячьих шапках. Медвежьи по-

лости, свисавшие до снежной дороги, цветные сани, февральская теплая и густая ночь со звездами, попискивающий снег под ногой, под полозьями... Не забыть!

С фонарями, с громом и пением разговорившихся сразу сотен побрякушек, со смехом и весельем, под мельчайшим снежным дымом, поднявшимся над тройками, мы выскочили в поля. Мы ехали в поместье Костина. Я закрывала муфтой лицо. Костин, обняв меня тепло за талию, клал свою голову ко мне на плечо и, осторожно отодвигая мех, целовал мои запущенные снегом, стынувшие щеки.

Пятнадцать верст мелькнули огнями деревень... И тройки взвили, выгибая спины, на гору... На горке был парк. Дорога, как лесная просека, врывалась в него, наталкиваясь на белый в колоннах дом. В парке тесно горели, как гроздья лампад, маленькие разноцветные стаканчики. Дом размежевали по фасаду три золотых галуна огней. У пилонов въезда пылали смоляные бочки. Навстречу нам бежали с факелами люди. И как только тройки вынесли ближе, факельщики встали по сторонам. Были это все бабы. Над усадебными воротами щелкнула и просвистела ракета и рассыпалась павлиньим хвостом в черном небе. И по знаку, за ней брызнули отовсюду другие, крошась в ночь голубыми, розовыми, зелеными каплями. Кони, храпя и дрожа, проскочили между шеренгами факельщиков, мимо дохнувших на нас летним жаром смоляных бочек — заиграла музыка... У подъезда стоял с медными трубами большой военный оркестр. Я обомлела. Костин мне шептал:

— Это для вас! Только для вас!

И я позволила ему крепко сжать мою грудь.

Три дня прошли: будто шла три дня метель, залепляла глаза, занесла все дороги, всю землю, никого не

было на земле, кроме нас пьяных, сытых, в огнях, в музыке, на ледяных горках, на мельницах, в парке, на конях верхом, тройками, шестериком, цугом, на охоте, на богомолье, в скиту, в плясках и голых маскарадах...

В доме было множество каких-то блеклых комнат, словно рассыпали все сорта пастелей и каждому цвету отвели особую комнату. Лепные потолки, плафоны, мраморные колонны, ниши, альковы, хоры, паркетные причудливых рисунков кружили нам головы. Мы будто сразу научились ходить более прямо.

Он отводил меня ночью в глухую круглую низкую комнату на антресолях, расписанную белыми и лиловыми сиренями. Я будто вдыхала от стен душную волну сиреней, а на рассвете, в серых еще сумерках, они мертвые дрожали мне, как под ветром в весеннем саду.

Я была молода и неопытна. Я могла поверить тому, чего не было. В затихнувшем доме я ждала его шагов. И боялась. В каком-то необычайно пестрившем в глазах халате, он тихонько крался ко мне под утро — и шептал с боязливой дрожью:

— Жена... заснула...

Он был груб со мной. А днем он был ласков, близок, умен и красив, он так шутил, незаметно, напаивал меня, что я забывала все, голова моя туманилась, я сладко ежилась от прикосновения к нему.

И вдруг я рухнула... И меня будто прибили... Я спустилась по крутой и темной лесенке из своей башни к ужину. Я услышала где-то, должно быть, в конце лестницы, у выхода в коридор, его мурлыкающий сначала и потом резкий голос и другой голос взбешенный, задавленный шопотом. Я узнала ее голос. Это была его жена. Я будто увидела эту маленькую, худую, как кость, бледнокровую женщину, но теперь у нее были,

конечно, на щеках красные угли, глаза ее, плача, светились ревностью, и она дышала на него жарче меня. Я замерла.

— Я требую! Я приказываю тебе! — бесился ее шопот. — Чтобы завтра этих... девок не было в нашем доме. Куда ты пошел? Зачем? Ты поместил ее, гад, подальше от всех!

— Т-с, т-с, Талочка, — просил он. — Ты же позволила мне. Ты же сама мне ее выбрала. И... хватаешь меня на лестнице! Да, тише же!

— Негодяй! Ты увлекся этой девкой. Долой, долой ее со двора! И этих бритых лакеев и обжор. Они сожрут и выпьют все наше имение. Я велю ей подать лошадей! Я ее сейчас... при всех отшлепаю по щекам... и... назову...

Я придержалась за холодную кирпичную стенку и прилегла к ней, не замечая, голым плечом. Тут внезапно голос его, будто с шумом оторвался вспугнутый конь на привязи, резко отчеканил:

— Тебя опять надо учить и привести в чувство!

И было слышно, как он звонко ударил ее по щеке.

— Иди! — крикнул он, забываясь.

Я, подобрав свое шелковое платье, ежась в нем, словно свалилась мне под платье вся грязь и пыль со стен этого дома, кололась, шипела, жгла мое тело, бросилась наверх.

Она всхлипнула. Они завозились на лестнице.

— А, ты кусаться? — еще раз слышала я. — На тебе!...

И он опять ударил ее по щеке.

— Ну, вот! — торжествующе добавил он.

Она захрипела, что-то жалко забормотала и хлопнула дверцами.

Я стояла у окна в своей башне и с ужасом ждала его. Но он не пришел. Видимо, он бросился вслед за ней.

Я была актрисой. Я так часто изображала чуждые мне чувства, что сумела осилить свое чувство. Я поняла, что мы были комедиантами в этом доме. Мы три дня забавляли зрителей. Завтра нас отошлют кормить на кухню вместе с прислугой и выдадут нам чаевые и прогонные. И всех дешевле купили меня. Я поняла: мы были только веселой и нарядной челядью.

Запоздав к ужину, я вышла такой радостной и хмельной, с такими неудержимо счастливыми глазами, как, может быть, человек бывает только на сцене. Играл хорошо и Костин. В нем не изменились ни голос, ни глаза, ни легкая походка. Губы его будто сочились сами собой шутками, прибаутками, увлекательными рассказами, благодушными остротами.

Только побитая дурнушка не владела собой. Она молчала, не сводя глаз с моих высоких бедер, с моих тянувших шелк платья грудей, с моего розового и свежего и солнечного тогда, как зайчик, лица.

— Милая,— вился около меня, вдруг шепнул Костин,— у тебя плечо в кирпиче.

Я вздрогнула, взглянула: на плече, как красная печать, лежал легкий кирпичный порошок. Костин, не спрашивая, как-то так ловко загородил меня от всех, что я незаметно смахнула сор. На некоторое время сломался мой голос, я растерялась, а потом опять нашлись и нужный смех, и нужное притворство, и молодая беззаботность.

Но я успела почти всем актерам, будто не сходя с места, указывая на хозяйку, сказать об отъезде. Они упирались, но я, не спрашивая их согласия, вдруг за несходящим со стола шампанским, подняла бокал и нескладно крикнула:

— Отвальную, отвальную!

— Ка-а-к! Что-о? — изумился Костин, круглея глазами. — Вы решили? Нет, нет, я не могу! Я не пущу вас!

Он быстро взглянул на жену.

— Да, да! — залепетала дурнушка.

Актеры досадливо поморщились на меня, но все сразу заговорили:

— Нам пора! Нам пора! Здесь рай! Мы унесем... Мы потрясены!.. Мы не знали!.. Такое божество!.. Искусство... Театр...

Я добила своего: решили отъезд завтра. Костин недоволен, кривляясь, кричал:

— А я не дам лошадей! И всем придется идти пешком... А у нас по дорогам волки!.. Я не хочу, не хочу расставаться с таким необычайным в нашей глуши... и с таким редким обществом! Пожалейте меня!

И он чуть поводил головой в сторону жены. А та, через силу, прибавляла худым и маленьким ртом:

— И я! и я!

Ужин продолжался. Все захмелели. Только я пила мало, обманывая его. Я застранила бокал локтем, сливала вино в тарелки, плескала под стол или подставляла пустые бокалы, держа один наполненный.

— Почему? — злился он. — Мой вороненок! Что ты надумала? Ты вынула, сверкая, будто клинок и вонзила в меня! Я увезу тебя сегодня ночью и спрячу на хутор. А они — пускай едут! Мне они наскучили. Ты моя? Ты согласна?

Я смеялась и не отказывалась. Он бережно касался моих туфель. Я отвечала.

Разошлись на свету. Я заперлась в башне и выжидала. Этому человеку, действительно, пришла мысль увезти меня на какой-то хутор. Я слышала, как на дворе скрипели снегом люди, ржали кони и откуда-то вытаскивали сани. Недолго помедлив, он поднялся по лесенке и постучался в запертые двери. Я встала с постели и, нарочно шлепая босыми ногами, подошла.

— Я без памяти, — пьяно, но тихо говорил он. — Ты на крючке? Выйди! Лошади поданы. Я в шубе. Едем. Мы скроемся, убежим от всех, нас не найдут! Я все устроил!..

Тут я не знаю, я не думала, я только не хотела его пустить к себе, но как-то внезапно у меня. сухо и насмешливо вырвалось:

— Распрягайте лошадей! У меня здесь другой мужчина!

Он, кажется, пошатнулся — что-то проехало за дверями по стене и зашуршало. Он молча пошел вниз и, я слышала, заботливо притворил там дверь.

За полдень он нас провожал, укладывая в сани корзины с шампанским, с фруктами, со сладостями. Он мне робко поцеловал руку и не взглянул в глаза. Дурнушка же впилась в меня. Она расцеловала все мое лицо, прижалась к моей шубке, долго, не отрываясь, обнимала меня, а потом сунула мне в муфту какую-то старинную золотую коробочку.

Я выехала за ворота усадьбы и, не поглядев, что было в коробочке, швырнула ее от себя. Коробочка, не раскрываясь, на-лету сверкнула будто ком огня и нырнула в мягкий снег.

.

Прошло немного лет, но ведь была революция... И оттого, что я постарела, потеряла голос и не гожусь больше для сцены, мне кажется, я прожила, как старая бабушка, долгую и трудную жизнь. Я много передумала заново, удивилась своей слепоте, по-новому иду по улицам, по-другому гляжу на мир, а его, как знакомый старый дом, покрыли новой крышей, как-то он стал глубже, объемистее и ярче, и я признаю какую-то тревогу перед собой за каждый прожитой мною день. Незнакомые ранее чувства! Но однажды я особенно пережила их сильно.

Загнала меня голодуха в девятнадцатом году на одну работу: отрезала я ножницами в общественной столовой от толстых, почти картонных, продовольственных карточек номерки, втыкала их на стоячую канцелярскую иглу, получала с посетителей деньги и выдавала другие номерки на право входа и обеда. Варили мы воблу, жарили мерзлую картошку, хлеба в столовой не выдавали, но как жадно, как вкусно тогда елось!

В столовой было дымно, вонюче, тесно. Недалеко от меня судомойки мыли грязную посуду. Спустя недели две, как я поступила, увидала я у большой лохани в рубище обрюзгшего, желтого и тихого человека. Он мыл посуду, но прежде чем окунуть тарелку в мутную воду, облизывал ее и как-то поспешно юркал по ней тоненьким языком.

Меня замутило — и я отвернулась. Помню, весь день этот я сидела боком к судомойкам, чтобы только не поглядеть на лохань.

Когда запирали столовую, мне рассказали судомойки:

— Бедный этот старичок. Второй год работает... Попросил у заведывающего получать объедки. Тот посмеялся — и позволил. Вот он тарелки и лижет. Что покрупнее — домой берет. Будто у него старуха есть. Ей и таскает. А чтобы не задаром добро получать, мы его мыть посуду заставили. Помогает нам. И мыть сподручнее — дряни меньше плавает в лохани.

Пожалела и я. Присмотрелась на другой день к лизуну — и вдруг узнала: это был Костин.

Бывают такие мгновения в жизни: остановила я его тогда же на улице, он выходил из столовой вместе со служащими, и назвала себя.

Костин затрясся, обрадовался, схватил меня за руку, потянулся поцеловать ее или, может быть, как тарелку, облизнуть... Я вырвала руку и, презирая, закричала:

— Уце-ле-ли! Не смейте больше ходить в столовую!
Не пришел. Судомойки долго его вспоминали, накопя
в углу кучу объедков. А когда куча начала портиться и
ее выкинули, они вздохнули о нем и похоронили его.

КАМЕНЬ

Я был очевидцем. Ехали мы студентами из Москвы на лето домой. Коля Одинцов, Клавдя—жена его с ребенком и я. Одинцов жил в Москве один, а Клавдя оставалась на зиму у свекра с дочерью, крошечной лепетуньей Женькой.

Отец у Одинцова был беден, учительствовал, у Клавди отец был дьячок-пьяница, мать умерла.

Жили трудно. Учились впроголодь. Клавдя скучала по муже в чужой семье: ребенок, радуя, будто связал ей и руки и ноги, запер ее на большой крюк в каморке и пил жадными глотками вместе с грудью и здоровье и силы. Свекор был по бедности скуп и настойчив. Тербили Клавдю золовки, деверья, тетки, бабки и дедушки. Она жила тяжело.

Я любил Клавдю. Она ушла к Одинцову. И за три года не забылось прежнее. Может быть, Коля знал о моем чувстве, я просил Клавдю никогда ему не говорить, может быть, не знал, но мы с ним были очень близки.

В этот год случилась с ним престранная история. Проходили мы как-то на масленой по Плющихе из клиник. Коля был очень замечен: высокий, румяный, свежий, светловолосый, сероглазый... Голодал будто я, худой и чахлый, как дерево на тощей земле, и серый, как песок на отмели, а он был мною, всегда накормленным, одетым и при деньгах.

Я делился с ним, чем мог, но он всегда досадливо смотрел на меня и отталкивал мой кошелек. Брал он у меня только займы, отдавая с обидной для меня точностью, и как-то при этом неприятно улыбался. После революции мне стало понятно это простое и естественное чувство в нашей дружбе.

Шли мы по Плющихе. Попался нам навстречу пьяный оборванец. Шел он, несвязно распевая какую-то песню, опустив голову. Потом сразу прервал песню, покачнулся, прижался к стенке и уставился на Колю веселейшими глазками.

— Слушай, слушай, ты!— закричал оборванец.— Красная смородина! Малинка! Стручок с перцем! А ты ведь выиграешь сто тысяч! Беспременно выиграешь! Такие только водолазы и выигрывают!

Мы засмеялись — и прошли. Коля шагнул два шага и сказал:

— Сейчас наверное попросит... Ты ему дай, у меня нет.

Я полез в карман, прежде чем действительно оборванец догнал нас и мрачным шопотом сказал:

— Окажите содействие пострадавшему за политические убеждения.

К студентам часто в те времена подходили с этой фразой.

Ста тысяч Коля не выиграл, но вскоре он нашел на улице тысячу рублей. Мы вспомнили оборванца. Я видел, как Коля колебался, что ему делать с деньгами. Я радовался за него, боясь, как бы он не заявил о них...

Неожиданно приехала Клавдия с ребенком. Забежал я однажды вечером к нему — и встретил ее. Стало понятно: он решил присвоить деньги. Объяснились. Он, еще сомневаясь и, видимо, казнясь, угрюмо раз пробурчал:

— Тысячи рублей у бедняка быть не может. Кошелек замшевый. Тоже беднякам не носить таких вещей. Следовательно, деньги принадлежали богатому. Он... со мной поделился... своей мошной. Я имею право... Я никому несчастья не делаю... У барина будет легкое головокружение — и пройдет. А я кончу университет... и прочее. А тебя я попрошу помолчать... так сказать, буду от тебя в некоторой зависимости!

— Дурак ты, дурак, — кричал я и смеялся на его страхи. — Я же все время настаивал на этом!

Вот мы и ехали домой — веселые, смешливые... Коля и Клавдя отъелись, принарядились... Оставался последний год студенчества.

Недалеко от наших Борков, станции за две, на вечеру, спала Женька на лавке, загороженная от полу корзиной, сгрудились мы у раскрытого окошка. Клавдя высунула голову в него, мы стояли по бокам у Клавди.

Помню, ведь я любил Клавдю, мне было радостно глядеть на ее розовое лицо, как у наших розовых баб, идущих в субботу из бани, на широкую кость спины, на полногрудую ее — и счастливую. Мне было грустно только оттого, что она чаще обращалась, восклицая, к мужу, чем ко мне!.. Но тут уж ничего не поделаешь!

И вдруг за окном что-то заорало, взвизгнуло, дернулась гармонь и что-то тяжелоехватило ветром, просвистело у меня перед глазами... Клавдя вросла в створку, а Коля свалился. Клавдя, дико крича, кинулась поднимать его...

Я выглянул в окно: по лужку, рядом с насыпью, шли деревенские парни с гармошкой, впереди плясал один в белой рубаше и разводил руками. Другие грозили уходившему поезду кулаками... За ними густо в верстах двух сидели деревни.

Кровь хлестала из головы Коли. Суетился и кричал вагон. Кто-то держал увесистый синий камень на ла-

дони. Клавдя зажимала рану рукой, кровь вылезала из-под пальцев и бежала-бежала-бежала красным кагором, обтекая все лицо Коли, ставшее багровым, как парное мясо.

Тут я хватился — и дернул тормоз Вестингауза. Поезд загрохотал, подергался, будто едва стоя на ногах, немного проскочил — и остановился. Первыми выскочили кондуктора. Полезли пассажиры вон. А изо всех наших окон махали руками и кричали:

— Вон они! Вон они! Доктора! Доктора!

Парни были далеко. Они попошли немного, потом поняли — и стремглав понеслись поперек луга к деревням.

Погоня была бесцельна. Мы только глядели им в спину. Мы даже не могли бы узнать, в какую деревню убегут они: кругом было, за ближним лугом, мелко-лесье, березовые рощицы, — и широколистый березовый большак закрывал окоём.

Как-то перевязали Колю, уняли кровь... А Женька все спала и спала. Клавдя, казалось, была сама ранена синим камнем. Без кровинки, в слезах, с мутными повялыми глазами, она сидела на полу около него и думала-думала-думала... Я поддерживал голову Коли, чтобы меньше трясло намокавшую через повязку рану.

Не знаю, есть ли большие муки на свете, чем муки за муки любимой? О нем я не говорю: тут был ужас. Но за нее, за нее я перенес трикраты!

Через три недели Коля умер.

Прошел год. Подросла и лепетала связно Женька. Стояла она у меня между коленями, снимала золотую цепочку с часами и окручивала ею мои руки, прикладывала мордочку к часам и слушала, как бьются в них „ходики“. Она так называла ход часов. Я любил Клавдю и часто носил подарки Женьке. Мне никто уже не мешал.

Вдруг чаще и чаще стала пропадать Клавдя. На день, на два... Я приходил к ней и не заставал. Женька оставалась у дедушки. Несмелая ревность, я молча любил, я молча ревновал, как трут раздувалась во мне.

Однажды она вернулась с обожженными, распухшими руками, в обгорелой кофточке и со спаленными волосами. Я узнал ее тайну. Я ужаснулся. Она поджигала деревни. Она пробиралась на поезде к тем деревням за окоёмом, сходила на ближайшей станции, несла в маленьком чемоданчике флаконы из-под духов, наполненные бензином — и делала ночами свое безумное дело.

Рыдая, она горько шептала мне:

— Все... все те деревни заплатили... мне... за синий камень!

Женька оттаскивала ее от меня и серьезно говорила:

— Не пачь, мама, мы одни будем любиться!

Мне было грустно. А ей, ей, бедной Клавде! И я сделал ей еще раз больно: я похитил у ней синий камень и швырнул его в обыкновенную грудку щебня на улице.

ЗЕЛЕННЫЕ ГОРЫ

„Финь - Финь“ кричали зяблики на подтаивавшем тюремном дворе. И первые сосульки, маленькие, хрупкие, как стеклярус на ярмарочной карусели, развесило солнце по крышам. Караульный колокол бил зычнее. Будто ломался у него голос зимой, глож от стужи, а теперь он установился, прогрелся простуженный язычок и гулко разговаривал в сквозившем воздухе. Уголовные выходили на работы в сдвинутых на лоб шапчонках, в опорках... Протащили надзиратели охапкой валенки в хранильное помещение. Дороги пропадали...

В один из таких мартовских, запоздало-весенних вечеров Степана Матвеева освободили. Просидел он десять лет в одиночке. Увезли его студентом после суда из родного городка Зеленые Горы и привезли сюда, в Сибирь. Разослали по другим тюрьмам и централам товарищей. Будто убрали с земли живых людей и зарыли покойниками в каменные гробницы с одним узеньким решетчатым окном под потолком, железной кроватью, табуретом, парашей и маленьким фонарем - глазком в кованой двери. И не слышать никому голосов, не видеть усатых и безбородых лиц, заперты человеческие мысли в одиночестве, вложена маленькая коробка в большую коробку и надет железный намордник — замок в крепких пробоях.

Матвеев помнил последний день на земле.

— Степа! Степа! — закричала мать, ваясь на нечистый, в слезах, исшарканный робкими шажками людей, пол...

Мать ваялась на полу — и он не мог подойти к ней: спереди, сзади, с боков молчаливо сверкала светло-сизая изгородь шашек конвоя. Он покидался в одну, другую сторону, сжали локти солдаты, словно заковывая беспокойные руки кандалами, прижались к нему серыми черствыми шинелями, дохнули душно потом рубах и махорки, — и заставили стоять за невысокими перильцами, на судейской плахе, занимавшими выступ стены с круглой аркой и отгородившими его от зала, от замолкшей на полу седенькой маленькой старухи-матери.

Потом толкнули вперед — и вывели... Так больше Матвеев и не видал ее. Десять раз приходил этот день. Но никто уже не кричал, болея и любя. Только запеклась где-то внутри его ранка и кровоточила воспоминаниями. Но так было в первые годы, когда он по этому дню, горько усмехаясь, делал на дверях ногтем зарубку. На шестой зарубке он задумался, и ему показалось — он не отметил прежде один год. Ползли часы, переваливались недели, забывались названия дней, кроме субботы, когда гоняли в баню, и праздников, когда били ранние и поздние колокола в соседнем приходе, тянулись месяцы, как непреходящая пыль в солнечном луче, карабкавшемся иногда из-за крыш сквозь плаксивые сыростью стекла, стояли неподвижно года, как потухшие в ночи горы... Он лежал с раскрытыми настежь глазами — и ни о чем не думал. Все передумалось, легко забывалось и не тревожило. Перепутал зарубки и перестал их делать, только исчеркал весь косяк сверху донизу ровными выбоинками, как длинная вдавленная в дерево гребенка, стал считать, сбился

со счета, перечеркнул поперек, тупя большой ноготь,— и отковырнул точку.

И даже в тот вечер, когда у ворот кричала и плакала, будто обрызганная красными флагами, черная толпа, стояла через все поле от тюрьмы до города — так запруживают нескончаемо и густо запасные пути вагоны — медные трубы ликовали и лились торжествующим громоханием, знамена упали в ноги и не хотели подняться,— он чувствовал только, как порошила глаза резь от солнца, от меди труб, от красных цветников и от людских взглядов. Он заметил, будто бы старый капельмейстер, заплывая слезами, не в такт размахивал палочкой, инструменты путались, отставали,— заметил и удивился.

В тесном и маленьком автомобиле, вместе с незнакомыми товарищами, называя на-лету фамилию, вглядываясь в отвалившуюся на стороны толпу,— вдруг он вспомнил о матери, и встали внезапно где-то вглуби глаз колокольни и фабричные трубы Зеленых Гор... Сжало горло, закружилось, закувыркалось, понеслось прошлое...

У накрытых столов, в каком-то доме, в фонтанах слепящего света, жадно съедая все поблизости, роняя ножи, вилки, оставляя их и беря руками, Матвеев виднее и отчетливее понял, что часы бегут, что вечер за окнами нахмушивается в ночь, что люди говорят и смешно открывают рот, что у него у самого есть голос, и вот он даже сейчас засмеялся, задумавшись и облокачиваясь на белый мякиш булки.

Матвеев устало огляделся на белые стены комнаты, на зеркала, мелькавшие лысынами, чубами, кудрями, белыми и розовыми лицами, бантиками, кофточками, сюртуками сутившейся и кормившей их толпы, на горки стоявшего посередь столов хлеба, на коренастые блюда с яствами, на бутылки с винами — были они даже

заткнуты зелеными и синими стеклянными пробками — на себя, молчавшего в кресле, потного, сытого, рыгающего, с набухшим тяжелым животом, — и сердце заторопилось, побежало, будто ковыльнулось через голову...

В Зеленых Горах он не нашел своего маленького деревянного домишки. Лежал тут чей-то мокрый и прелый лес. Старый репейник поднимался промеж откатившихся из костра бревен серым кустарником и глушил двор. Только подгнивший сруб колодца позадь был тот же, знакомый, влекущий... Матвеев подошел к нему и заглянул в цветную накипь воды. Оттуда глянуло на него зеленое лицо, с зеленой пеной бороды, худое, с мигающими, мутными глазами. Матвеев посидел на бревнах, покурил, пригнул к себе покорные шеи репейников и будто погладил их. Он долго кружил по путаным пустырям и переулкам Зачатьевской слободки. И будто вчера он тут проходил, только укоротились дороги, присели дома и никто не узнавал его, а новые ребята кричали вслед незнакомцу:

— Дядя, поймай воробушка!

Матвеев прошел в самый город, на главные улицы — и тут уже многого не узнал. Притаились старые низкорослые торговли и особняки около домов-верзил, неся шумливый грохотун-трамвай по каменному настилу, былолюдно и тесно в тесных улицах, скакали озабоченные вестовые верхами, мчались, дребезжа и пыля, мотоциклы с красными флажками и солдатами в кожаных тужурках, поперек улиц над трамвайными жилами качались по ветру подсыхающие гирлянды из хвои, и красными змеями вился в них кумач.

Солнце в облаках стояло над городом, будто тяжелый золотой боченок. Студенты, офицеры, гимназисты, рабочие, газетчики, папиросники, женщины с первыми ландышами, в голубых вуалях, франты, толстяки, ни-

щие — обгоняли его, попадались навстречу, шумели в ушах, смеялись... И было странно видеть — в Зеленых Горах, в небоскребах, на трамваях, по асфальтовым длинным мостовым суетились новые, другие люди. Будто в тот далекий день, вместе с ним, вывезли весь город и населили его вот этими, незнакомыми молодыми и старыми прохожими.

Матвеев жадно бродил из улицы в улицу, пересекал город по трамвайным линиям, исходил его, иссидел садики, бульвары... Тоскливо и сладко перебивало сердце.

Начиналось новое в новом.

.

Зеленые Горы будто были подожжены со всех сторон. Город горел митингами, собраниями, манифестациями: враги разносили по семьям имена своих врагов.

Матвеев пришел в себя. И нашел свое место.

Случилось это вскоре, как он приехал. На втором митинге в городском театре вдруг Матвеев увидел, что пробирался он на сцену в человеческой гущине и пожимал руки одним, другим. За столом сидели все знакомые люди — кадеты, меньшевики, эсэры, анархисты, народники... Прошлого не было. Зеленые Горы знали его и будто никогда не забывали. Он пробегал утром торопливыми глазами газеты, встречал свое имя, мельком перечитывал свои речи на митингах, на конференциях, на съездах — и скакал по улицам, обдумывая на ходу новые выступления.

Как-то на исходе лета сидел он в городской думе. Воздух был густ и сперт. Казалось, ложился он на голову, на плечи, давил их, забирался под одежду, вызывал испарину. Плотной непроницаемой кучей от стен до самого стола набился народ. Стояли на окнах, в дверях, на хорах. Давно шло заседание. Матвеев устал. Кричал и свистел народ, сморкался, хлопал. Будто

открыли потолок, — и оттуда в дыру неудержимо лил дождь... Лил он человеческими словами, капли походили одна на другую, мочили, прыгали, стрекотали по столу, по головам, ковыряли в ушах... Матвеев выступал, делал ошибки, сердился на них, сказал что-то невпопад — и зал загоготал. Наклонив голову к лежащему перед ним листу бумаги, он настроил на нем карандашных домиков, сплел бессмысленные табунки слов, раздражаясь прорезал наискось бумагу и стал рвать ее на мелкие, мельчайшие лоскутья. Противным и нелепым показалось ему зеленое сукно на столе с чернильными пятнами и громадным, пузатым, как беременная женщина, графином. И этот расписной красными цветами поднос. И этот чистенький, аккуратненький, с блиставшей будто лакированные сапоги плешью, председатель в манжетах и зеленом галстучке с бриллиантовой булавкой - козявкой. И этот коровообразный сосед с оттопырившимся на спине клетчатым пиджаком, едва сдерживавшем пухлое, рыхлое, жирное тело.

Был этот сосед, Сергей Сергеевич Сомов, член окружного суда, великий спорщик и говорун. Он часто наклонялся к Матвееву и мешал ему слушать. Матвеев морщился и не мог отодвинуть вплотную друг к другу приставленные стулья. Вдруг кто-то зашевелился у него за спиной и тихонько прошептал его имя. Сергей Сергеевич весело осклабился. Матвеев увидел дочь Сергея Сергеевича Нину, ответил ей на быстрый кивок, смутился, закашлялся и отвернулся. И покуда она шепталась с отцом, будто встали у него уши, он слышал ее голос, вслушивался в него, чувствовал, как теплело у него в груди, даже зеленый стол начинал казаться уютным, а седой бобрик Сергея Сергеевича на большой ухастой голове — обыкновенным и простым, как и другие плешивые и волосатые головы.

— Почему давно не были у нас? — прошептала Нина и ему близко от горевшего уха.— Приходите. Я бегу от вашей скуки. Вы тоже, кажется, спите?

Матвееву чудилось, что Нина насмешливо улыбалась ему, раскрывая его спрятанную под одеждой грудь и глядя ему в сердце. Он тихо бормотал в ответ:

— Благодарю вас. Я так занят... Целыми днями. Все некогда...

— Так приходите! Слышите? — еще тише шепнула Нина и глубоко взглянула в глаза.

Она осторожно пробиралась в толпе, белея шелковой шляпой с широкими полями и сводя узкие плечи в сером жакете. Матвеев провожал ее глазами, не видя, как над ним недовольно ухмылялся Сергей Сергеевич, искоса наблюдая.

Матвеев не знал, как это было с другими людьми, но на каком-то вечере он познакомился с Ниной, ходил с ней и Сергеем Сергеевичем по залу, о чем-то говорил, вместе вышли с вечера и разошлись в разные стороны. Матвеев почему-то тогда весело бежал домой в маленькую, угловатую комнату. Напевая и удивляя хозяйку неожиданным весельем, скинул пальтишко, швырнул его на вешалку, вытолкнул окошко в палисадник — и задумался. Попытался он забыть девушку, но и на второй, на третий день помнил о ней. А потом, — то сталкивались они на повороте в переулок и быстро проходили мимо, то издали покажется она и затеряется в толпе, то обгоняла его на извозчике и кивала головой. В душе оставалось нежное ощущение радости — и не проходило.

Собирались в квартире Сергея Сергеевича разные люди, пили чай, спорили, горячились, потрясали газетами, новыми книгами, приносили стихи, играл на скрипке маэстро Зеленых Гор граф Путилин, заика, чиновник

ссудо-сберегательной кассы — звали его Евграф, но кто-то назвал граф, так и пристало — составляли в новое время списки гласных в городскую думу, в земскую управу, намечали кандидатов в губернские комиссары, жадно слушали приезжавших офицеров из армии, распределяли бедные и богатые должности по коллегиям, по комиссиям и комитетам. Пришел сюда и Матвеев — и зачистил.

И надо было немного времени, чтобы безрассудно искать Нину глазами, где она не могла быть: на рабочих собраниях, на заводах, в мастерских, в солдатских казармах... И надо было уже значительно больше времени, чтобы укорять себя ночами под худеньким шерстяным одеялом, не засыпая и крутясь с боку на бок, чтобы не переходила она, тоненькая и голубая, дорогу на тряской валежной мостовой в рабочих окраинах.

Матвеев искал встреч — и находил их. Он, краснея и мыча под нос, уходил раньше времени от товарищей, не дослушивал докладов, комкал свои, отказывался от работы — и в назначенные дни недели торопился на Фроловку, звонил в белую маленькую кнопку — и нетерпеливо ждал. Приходило сразу: не убежать ли, не скрыться ли на той стороне, вон там, под густеющими на дороге вязами, прильнув к темному забору? Когда-то мальчиком, гимназистом, в весенние тающие вечера, он так озорничал, звоня в незнакомые квартиры, заклепывая кнопки сытым водой снегом и опрометью кидаясь от дверей. Как было весело! Двери широко раскрывали рот, электрический свет окачивал, как из ведра, горничную в белом переднике и широкую желтую лестницу вверх. Горничная пугливо оглядывала подъезд, тихую улицу, выковыривала снег из кнопки и злобно хлопала дверью. Не убежать ли? Но он не успевал...

В тесной от мебели комнате, под голубой люстрой, за круглым столом с голубоватой скатертью, он забывал

мальчишеские проделки. И сидел за полночь. Старуха-мать любопытствовала глазами, Сергей Сергеевич говорил-говорил, держал его за пуговицу и не отпускал от себя. Около них кричали и надрывались голосами какие-то старички, франтоватые адвокаты, полные, изомлевшие от духоты дамы.

Нина подходила иногда и стояла за стулом. Или глядела через стол и тоже, казалось, слушала, скользя по нему глазами, как свет на полированной красной мебели. Было беспокойно и темно и грустно, когда ее не было дома. Но он высиживал до конца и не уходил... Только уж дома, у себя в глазах, долго мелькала и мелькала седая круглая вертушка — голова Сергея Сергеевича.

Раз опоздал Матвеев на Фроловку. Он вошел и увидел Нину с каким-то молодым офицером на диване. Трудно скрывая волнение, разглядел он на груди офицера георгиевский крестик. Нина познакомила его с легко поднявшимся офицером и усадила Матвеева рядом, будто соединяя их касавшимся обоих светлым платьем. Матвеев неловко шевелился на диване и скоро отошел к Сергею Сергеевичу.

И заняло с этого вечера сердце настойчиво и злобно и ревниво. Офицер был ее женихом. Матвеев знал раньше о нем, но его не было рядом с ней, он не сидел, касаясь ее платья, на маленьком темно-синем диване. На другой день, проезжая предместьем на заводы, Матвеев встретил их. Девушка шла под руку с офицером. Матвеев вспыхнул. Казалось, офицер деланно щелкал шпорами и слишком крепко прижимал ее руку к себе. Он замигал, заторопил извозчика и быстро снял шляпу. Девушка что-то крикнула вслед, не расслышал, не хотел слышать... И пока не завернули в переулочек — так бы и спрятался в низкой пролетке на дно. Ему казалось, она видела, как осунулась его спина, как вбирал

он плечи в пальто, и она понимала, почему он касался своей шляпы, не сидевшей на голове удобно и просто.

Колеблясь и замирая, он зажмурил глаза на извозчике, выпрямился в невидном ей переулке — и будто забыл навсегда, не помнил, не знал этот последний томительный месяц. Будто, как в камере, перечеркнул он зарубки на косяке одним освобождающим рывком.

Прошло немного скучных и таких ровных дней; не выходил, отлеживался, не вставая с постели, думая и коря себя. Зачем-то поздно вечером выбрался в Зачатьевскую слободу, посидел на бревнах в разросшемся репейнике, кроша лиловые зерна репья на ладони и пересыпая их долго, тягуче, с поджатым грустным ртом. Потом отлегло. Утишалось сердце. И остался в нем словно легкий укол.

И опять не справился. Не был на Фроловке и одну и другую среду. Шел в заботах по улице, настигал товарищей, торопившихся на очередное заводское собрание — и остановился у афиши. Голубые, розовые, зеленые афиши кричали с заборов, со щитов, со стен домов:

Гражданин! Ты еще не взял билета?

Помни о твоём долге! Фронт ждёт!

Твоя скромная лепта защитит наших молодцов!

Матвеев поморщился и быстро прошел мимо, но вдруг поворотил обратно и дочитал афишу:

Партия Народной свободы в Загородном саду устраивает грандиозный концерт-гуляние на подарки героям наших доблестных армий. Два оркестра военной музыки. Народные танцы на открытой площадке. Лотерея. Лошадки. Гармонист Филимонов. Русско-швейцарская борьба. Чемпион России Бесов-Стоеросов. Фокусник и шагоглотатель Петрункин. Роскошный фейерверк.

Еще морщась, еще презрительно думая о крикунье-афише, Матвеев знал, что пойдет туда, в этот подстриженный под гребенку аллея и лохматый у пруда За-

городный сад, пойдет встретить ее, Нину, а с ней молодого офицера с выпяченным Георгием на полосатой ленточке. Владимир Владимирович Петушков будет водить ее под руку, а ему она уронит приветливые, скупые слова при встрече,— и потом еще, обертываясь назад из первой пары, он сзади будет ходить с Сергеем Сергеевичем, выкинет слова, оставшиеся от разговора с любимым.

Матвеев пришел в парк. В глаза лезли плакаты, афиши, трепались оборванными и недоклеенными краями на ветру, шуршали бумажным плеском — и так не шли к зеленым качавшимся деревьям. А там, на ветвях, где бы петь и прыгать птицам, лазить белочкам, навешены были бумажные разноцветные фонарики. На середине пруда, под зеленым лоскутным одеялом, с беложелтыми кувшинками по берегам, воздвигнуто было на высоком столбе иллюминационное колесо. В аллеях шумно и весело катилась, наплывала, растекалась такая же разноцветная гирлянда бумажных фонариков, как на деревьях, людская толпа.

Матвеев сделал круг и встретил Сомовых.

— Вы, вы на нашем празднике?— закричал довольный Сергей Сергеевич.— Очень мило, очень мило! И непоследовательно... и непоследовательно! Ха-ха! Но я очень рад, я очень рад. У моей дочери кавалер. Я сдам ее, сдам вам на хранение. Жениха отправили сражаться— и нам не с кем, не с кем, кроме как со стариком отцом, месить пыль по дорожкам! Ха-ха!

Пока кричал Сергей Сергеевич, они загородили аллею, их начали недовольно отжимать к стороне,— и вглядывались на них. Матвеев, будто не слышал всего, что говорил Сергей Сергеевич. Он ощутил вдруг тихую и робкую радость, неумело идя рядом с Ниной. Девушка заметила его неловкость и просто сказала:

— Дайте я возьму вас под руку: так удобнее.

Матвеев вспыхнул. Между тем она просунула свою тонкую руку в перегиб его руки и добавила:

— Ужасно много народу: такая толкотня!

Матвеев применился к ее маленьким семящим шажкам и пошел верно и крепко. Сергей Сергеевич безостановочно говорил, шарашась своим грузным телом рядом с ним.

— Да, да... Значит, не все потеряно,— размахивал Сергей Сергеевич руками.— К нашим героям, к своему народу, значит, и у вас, у большевиков, кое-что осталось в сердце. Вы меня извините, но наш российский большевизм ужасное заблуждение, ужасное, если не сказать больше!

Матвеев не отвечал, следя за ее острыми носками, выступавшими от бумажных фонариков на желтевшем песке аллеи.

— Судите сами,— тише бормотал старик,— звать солдат домой перед лицом неприятеля, это — государственное преступление. Я не устану об этом говорить. Говорят, фанатизм. Какой фанатизм? Где исторические примеры? Укажите мне фанатиков, которые бы когда-либо, где-либо распинали свою родину, возводили ее на Голгофу?

Девушка шутливо прижала к себе руку Матвеева и сказала:

— Ах, папа! Степану Ивановичу, я чувствую, так неприятен твой монолог! И скучно слушать все об одном и об одном.

— Нет, что вы! — воскликнул Матвеев, с дрожью ощущая тепло ее руки.— Сергей Сергеевич прав по-своему. Большевики правы по-своему. Нам не о чем спорить.

— Но нам не понять друг друга! — рассердился Сергей Сергеевич.— А только мне больно, больно за гибнущую Россию!

Он перевел глаза на тихо усмехавшуюся чему-то Нину и зашипел на нее:

— Об одном, об одном! Скучно тебе? Да разве, милая моя, от таких вопросов может быть скучно разумному человеку?

И он торжественно, кипяťясь, кинул скороговоркой:
— Сердце должно разрываться на части!

Сергей Сергеевич не успел распылиться на легкий смешок дочери, как к ним подкатился, будто шар, какой-то толстяк с зеленым бантом в петлице и, задышав, запел тоненьким голоском:

— Сергей Сергеевич! Дорогой мой! Пойдемте, пойдемте! Вы нам нужны! Уж, как хотите, голубчик, но помогите!

— Что, что такое? — удивился Сергей Сергеевич.

— Потом... потом... скорее, родной!

И он покатил старика к павильону распорядителей. Девушка засмеялась.

— Очень кстати эта... Макака — иначе папку нельзя было бы унять!

Они подходили к пруду. Стало просторнее. Девушка сняла руку.

— Кто этот господин? — спросил Матвеев.

— Папин сослуживец. Распорядитель на всех концертах и вечерах. Презабавный старикан. У него такое прозвище — Макака. Его все любят. Трудно, кажется, найти человека более доброго и более внимательного к людям, чем он. Он тоже патриот.

Сели на скамейку у пруда. Деревья кое-где выступали освещенными непричесанными кудрями. По лицу его гладили и скользили волосы девушки, выбившиеся из-под шляпы, кидаемые ветром. Матвеев не заметил, как гуще и гуще от темноты становилось все кругом. Он смеялся, подолгу они ходили в аллеях, седи-

лись снова, Нина оставляла его, делая круги со знакомыми, и возвращалась. Как давно близкие люди, пошли они в концертный зал, призываемые пронзительным гонгом. В толпе они заметили белую голову Сергея Сергеевича, и Нина его окликнула. Сергей Сергеевич, смеясь, рассказывал:

— Я очень приятно провел время с дамами. Но мы чуть не оскандалили. По нашей российской халатности чуть не сели в лужу. Забыли заранее приготовить билеты на лотерею. Вещи все на местах, и номера на них, и цены, а билетов нет. Спешно нас стариков засадили за это дело. Сидели с дамами и закручивали билеты.

Матвеев давно не слышал музыки. Он закрыл лицо руками — и застыл.

— Папа,— шепнула девушка с испугом,— он, кажется, плачет?

Старик пошевелинулся и взглянул.

— В самом деле,— шопотом же отвечал он,— не тронь его!

Потом наклонился к ней и в самое ухо сказал:

— Уверяю тебя — он не настоящий большевик!

Девушка досадно отстранилась. Матвеев расслышал последние слова — и жалко улыбнулся. А Нина, давась смехом, шутила над ним, уверяя, что он плакал. После концерта он терпеливо слушал монолог Сергея Сергеевича о великой России, создавшей Глинку, Чайковского и Мусоргского.

Втроем они шли к пруду, откуда раздались первые выстрелы. Завертелось колесо золотым ливнем. Заколыхались кувшинки. Задрожали багрецы деревьев. И вдруг сотни разноцветных лампад с четырех концов пруда зажглись в ночной выси, остановились, разгораясь, и просыпались на землю цветными кипящими

ручьями. У выхода из сада собрались знакомые Сомовых. Был тут Макака, крутясь под ногами и восторгаясь теплой и тихой ночью, затухающими огнями, музыкой, кидавшей из-за забора глухие и трескучие голоса, беря попеременно одного, другого под руку и расспрашивая об удачном и богатом народном гулянии. Матвеев повел Нину — и за полночь дошли до Фроловки. Сергей Сергеевич никого не отпустил — и по широкой желтой лестнице, гремя по ступенькам, в квартиру вошли поздние завсегдатаи-гости.

За чайным столом, как всегда, кричал Сергей Сергеевич:

— Ваша, ваша берет! Радуйтесь! Наш гражданин Иван — сторож в суде — сегодня и говорит мне: скоро, Сергей Сергеевич, вашему брату капут. Попили нашей кровушки. А все вы, вы с вашей демагогией... с пробуждением в массах низких чувств!

— Это ужасно. Иван был такой услужливый человек. Скромный и тихий, — сказала жена.

Матвеев не видел, не слышал, как уже шел рассвет, он привычно и легко спорил с Сергей Сергеевичем, искал взглядов Нины и трепетал.

— Наслушался чепухи, — кипятился Сергей Сергеевич, — героем почувствовал себя. Да, и мало ли таких Иванов. Миллионы их. И вся эта орда бурлит. Я вижу. Я наблюдаю. Себе, а не кому другому, сажают на спину немца. А их подзуживают, травят, как медведя травят... А медведь... ревет. И грозитя и наступает. Поднимает свои лапищи!

Вдруг охватило Матвеева необоримое чувство восторга и гордость, будто он услышал какой-то глухой и явный грохот под землей — то шли молчаливые, и тихие, и скромные Иваны и пугали Сергей Сергеевича. И это чувство будто заслонило любовь его к Нине.

— Цепями на большевиков! — пошутил Матвеев, вспомнив, как часто говорил Сергей Сергеевич.

Старик выскочил из-за стола, забегал по комнате и горячо заговорил:

— Нет, нет, нет, не принимаю убийства; нищий ли убивает богатого, богатый ли убивает нищего. Одинаково гнусно! Не надо смерти! Не должно быть ее! Когда я подъезжаю к Петербургу, меня всегда поражают кладбища. Белые, голубые, зеленые, больше всего белых, кресты перед глазами. Прямые, кривые, сломанные... новенькие тысячами, на десятки верст... Кто выдумал, кто догадался напоказ выставить этот ужас? Да и во всех городах так. Ведь, кажется, ничего нет особенного. Ну, кладбище — и все тут... А на глаза навертываются слезы. Ну, жили люди и умерли. А грустно! А необыкновенно все это зрелище! Я не хочу поставить ни одного лишнего креста. А вы всю страну сделаете таким кладбищем. Вы миллионы крестов поставите на земле! Лесов наших нехватит! Тракторами будете зарывать покойников. Не могу, не могу видеть этого зрелища! Господствуйте, управляйте, но... не убивайте! Не троньте стихию. Кровь не соединяет, а разъединяет. Не проливайте ее! Понимаю, сознаю, мир будет иным, он преобразится, его надо переделать, но не мезтью, но не убийством!..

У Сергея Сергеевича дрожал голос. Он покраснел. Грустно и беспомощно он разводил руками. Недоумевающе оглядывал комнату.

Макаа ласково обнял его сзади.

— Сергей Сергеевич, друг мой, вы преувеличиваете. Большевикам не удастся захватить власть. Ручки коротки. Временное правительство примет маленькие меры — и пфук и пфук!

Матвеев весело засмеялся.

— Дни его сочтены, — вдруг, задумавшись, твердо сказал он.

— Пророки! Пророки! Оракулы! — возмущался Сергей Сергеевич.

Расходились утихшие, примиренные. Нина нежно и устало пожала ему руку, а Сергей Сергеевич, провожая, твердил ему на лестнице:

— Россия — страна обывательская. Самый обширный в ней класс обыватели. Революция должна взять этот класс за чупрын. Но как его взять? Ис-по-до-воль! Ис-по-до-воль!.. Все у нас гнило и отвратительно, мы будто жили в благоустроенном доме, а, глядишь, у нас нет крыши. Жили мы не в двадцатом веке, а в одиннадцатом. Вы думаете, я ничего не понимаю, ни о чем не думаю, а только кричу и дудю в одну дудку. Нет, нет! Еду я проселком, или в нашем городке по окраинам, кидает меня по рытвинам да по канавам, глушь и безлюдье, я и думаю — средневековье, средневековье. Так жить нельзя. Мы для этого и сделали революцию. Надо, чтобы государство наше было и сильно, и богато, и славно. А что для этого нужно? Победить немцев, закончить победоносно войну. Мы покажем тогда себя, развернем все наши силы, ум, таланты, промышленность, культуру!.. Вы же все губите, губите. Вы поджигаете пороховую бочку. Где бы всем вместе, а вы рабочие, рабочие и еще раз рабочие. А рабочих у нас нуль с остатком. Мужик за вами пойдет, покуда на нем солдатская шинель. Ему с бабой спать надо, вы его домой зовете. Он темен, он не понимает, что делает. Вы его раздражите — он опрокинет все — и нас и вас и попрет на пролом. И фью — от революции останутся опять запретные красные флаги. Поверьте мне, я прав. Я вас хочу переубедить, переубедить от вашей слепоты!

Матвеев перешел на другую сторону улицы. В квартире Сомовых из-за деревьев мигал огонь. Он глядел на него и не мог оторвать глаз. Робкий, дрожащий, неясный в расплывающемся рассвете, обманчивый, он вдруг показался ему отдаленным на сотни, на тысячи верст, идти к нему и никогда не дойти, и вечно перегонять его.

Мучаясь и тоскуя, Матвеев пропустил не одну среду на Фроловке. Он прятался от самого себя. Натыкаясь на Сергея Сергеевича, он беспомощно проводил по горлу рукой и застенчиво ухмылялся. Работа шла трудно, через силу, под грузом.

И снова плеснуло в лицо краской, когда наклонилась она к горевшему уху и шепнула ему в зале городской думы. Он вышел вместе с Сергеем Сергеевичем, и тот привел его за круглый стол с голубоватой скатертью. Макака играл с Ниной в четыре руки на рояле, они оглянулись, Нина не удивилась и не прекратила играть.

* * *

В субботу, под звон колокольный, по темному дождливому небу, по непровешенным небесным дорогам прилетели вести... Маленькая деревянная будка с высокими пиками и с протянутыми от них проволоками, стоявшая с войны на городской площади, узнала первая. В ночь Нина где-то услышала выстрелы. Пролязгли мимо пушки, проскакали кавалеристы, юркнули со свистом автомобили. Нина вышла на подъезд и прислушалась. Глухо шумел город. Почти бежали отдельные прохожие. Ракеты пороли небо. Вдали пели сигнальные рожки. Пугливо выглядывали из калиток и ворот какие-то люди. На окраинах будто сволакивали, отбивали крыши с гнезд хлопотливые пулеметы. И было так

буднично и тревожно. Девушка вернулась домой. Сергей Сергеевич хмуро и резко ходил по комнатам.

Лежа в кровати, Нина слышала, как по улице с топанием и шарканьем проходили во всю ночь люди. Шли — шли.словно неисчислимая армия вступала в город. Все улицы, переулки, площади, дворы были наполнены черными и грубыми человечками с загадочно-насмешливыми снисходительными глазами, как у сторожа Ивана. Заперт город со всех сторон. Повсюду стерегут. И все обречены. Уже ходят по домам. Врываются в дома. Ищут. Хватают. Вдруг зазвенит звонок жалобно и неотступно. Сразу забарабаният в двери грозно и настойчиво. Вдруг кинутся на все дома, снося ворота, калитки, заборы, выставляя рамы, скидывая крыши, топаясь по чердакам, выскакивая из печей с оскаленными зубами и страшными лицами.

Сергей Сергеевич часами стоял у окна. Фроловка была пуста. С утра еще на углу дежурили трое рабочих с винтовками за плечами. Беспреданно курили, останавливали редких прохожих, а прохожие растерянно и быстро рылись в карманах, вынимали какие-то бумажки. Некоторых задерживали. И тогда один из рабочих уводил их в переулок. Других отпускали. Ежась, торопясь, отходили, будто ждали — вскинутся ружья к руке, и дробкий, бешеный залп хлеснет в спину.

Дежуря бесменно у окна, Сергей Сергеевич вдруг громко закричал:

— Смотри-и-те, смотри-и-те!

По улице, с красным флажком впереди, мчался желтый автомобиль с двумя седоками. Один — был Матвеев. Он придерживал шляпу рукой, как-то весь выдвинулся вперед, словно торопил шоффера в кожаной засаленной тужурке.

Часовые кивнули ему и посмотрели вслед автомобилю.

— Никогда не проезжал на автомобиле! Все пешечком. А тут фу-ты ну-ты!—забурчал обиженно Сергей Сергеевич.—Новая власть! Бензин изводят! Спешные государственные дела! А эти вахлаки салютуют! То-вари-щи! Комедия, скверная комедия! Мелодрама!

Первой вышла Нина. Старики тревожились за нее. Но девушка вернулась. Шли митинги, собрания. По улицам краснели манифестации. Много было зелени на домах. Потускневшие от времени красные флаги обновились. Будто подкрасили их. Бойкие газетчики оглушительно кричали. Разъезжали конные патрули латышского полка.

Сергей Сергеевич недоверчиво выслушал. Нина принесла пачку газет. Тысячеверстная Россия, новая, нелюбимая, грозная и таинственная, восставшая, раскрылась перед Сергеем Сергеевичем. Он молча прочитал и швырнул газеты... Скоро из окружного суда пришел Иван. И Сергею Сергеевичу показалось—он подмигивал ему. Пришел—и пригласил на службу: требуют!

Ковыляя и часто становясь втупик, начиналась новь. Сияли нетленным огнем те же человеческие чувства, те же люди говорили, смеялись, плакали, клонились робко к закату одни, приходили другие, и так же дети под влюбленными взглядами мерцающих над ними матерей бормотали у своих игрушек слова несвязные и непонятные, повторяемые тысячелетиями.

Прогрохотали через город разбежавшиеся армии. Задержались—и отпрянули. Раздробились извилистыми мирными ручейками по тропинкам между унылых деревень, оплакивающих недостающих. Шесть дней громили ренсковые погреба. Пролилась кровь пьяных. Темные улицы, трущобы выбросили на город воров и убийц. Кладбище под городом тенистое, все в тополях

и березах, скрыло в своих ненасытных недрах многих. И нет их! Один заговор за другим задушили стерегущей рукой. Черное знамя анархистов сторожевые разорвали в клочья. Сергей Сергеевич говорил придушенным голосом, будто он стал еще белее и седее. Матвеев не бывал на Фроловке.

* * *

В феврале заметелило. В один из таких невидных, закиданных снегом вечеров Сергей Сергеевич долго не возвращался. Около полуночи позвонил чужой и робкий звонок. Вкатил снежный свой шар Макака и не-связно забормотал:

— Да, да, знаете, кое-что и не совсем... малость... не хорошо... с Сергеем Сергеевичем. В больнице он... но жив, но жив... и будет здравствовать... тысячу лет...

Нина молча и быстро оделась. Старуха-мать приподнялась с дивана, постояла, опустилась снова и заплакала.

Макака махнул девушке рукой, та скользнула в двери. Он осторожно и бережно напоил старуху водой, поправил, укутывая, теплый платок на плечах и подсел на диван. Старуха проплакалась и могла слушать. Тогда тихонько и ласково заговорил Макака:

— Изволите ли видеть, мы с Сергей Сергеевичем пробирались часа два тому назад восвояси. Переходили дорожку. Товарищи носят на своих железных лошадках, как угорелые...

Старуха застонала и в ужасе закричала:

— Его раздавило автомобилем?

— Да нет же, нет, дорогая,—недовольно продолжал Макака,—не пугайтесь, страшного ровнехонько ничего не будет. Ну, вот, мы как заметили эту бешеную фукалку, прибавляй шаг и... немножко не успели... Я, знаете, упал в одну сторону, так сказать, от сотря-

сения воздуха, а Сергея Сергеевича чуть-чуть задело колесом.—Нет, нет, не пугайтесь, дорогая! Я спутал, по своему обыкновению. Не колесом, не колесом, а около колеса, знаете, такой выступчик маленький железный... Как же он называется? Вспомнил, вспомнил! Кожухом называется. Однако не поручусь за правильность названия!

Старуха закрыла лицо.

— Сергей Сергеевич пошатнулся и, как сноп. Конечно, так говорится, как сноп. От падения, не думайте, дорогая, совсем не от машины, а только от падения, он ушиб бок... А бок ушиб—отозвалось и на животе: соседи ведь! Да немного оцарапал руки. Так пустяшные царапинки! Сделали свое злое дело товарищи—и ускакали. Вот и все! Вот и вся наша история! А страшного и не оказалось!

Старуха жалко и тягуче зарыдала:

— Неправда! Неправда! Он тяжело ранен! Зачем вы обманываете меня? Почему вы его не привезли домой, если он ранен легко? Почему вы его свезли в больницу?

Макака живо ответил:

— Ах, какая вы недоверчивая! Я и хотел его к вам представить. Да ведь докторов-то в ночное время домой не затащишь! Разыскивать их надо. Настояшься у звонков. Другой и слышит звонок, да не откроет. А дело спешное... В больнице же, дорогая, очень удобно—всегда найдешь доктора, там и сиделки, и бинты, и все!..

— И опять, и опять неправда! Если бы легко—и доктора не надо! А вы о бинтах... о сиделках... Бедный, бедный Сергей!

Макака бегал глазами, протягивал к ней руки, вставал, ходил по комнате, приносил воду и растерянно лепетал:

— Фома неверный! Фома неверный! Вы увидите, вы увидите!

На свету пришла Нина. Старуха повисла у ней на шее. Она поняла.

— Мамочка, я не застала его!..

Макака опустился на стул в уголку и всхлипнул, трудно выговаривая два слова:

— Друг мой... друг мой...

* * *

Храпели дни, как загнанные кони—и ускакались. Пошли дни, шатаясь и выравниваясь в пути, тащили телегу, попадая и вправляя ее на колею. Слезилась у ворот, по канавам пленки льда. Шумели крепко и сочно вороны. Голуби ворковали на мостовой, подбирали зерна, хохлились, чистили носики. Разливалось вечернее небо светло-палевыми, зеленоватыми, перламутровыми водами. Тут умер Сергей Сергеевич...

Матвеев выждал и пошел на Фроловку.

Нина черной монашкой вышла к дверям, помолчала и тихо сказала:

— Мы не можем вас принимать!..

И побледнела, и передернулась, и опустила глаза. Потом, глядя куда-то в сторону, не щелкнув замком, притворила двери.

Матвеев заметался. Ударил тик в щеки, в губы... Он бросился с крыльца...

Перевертывал числа, недели, месяцы. Над головой Матвеева все ночи ходил взад и вперед какой-то человек. То будто был второй маятник, шатавшийся за стеной в старинных екатерининских часах с башенками. Важно, поскрипывая, отмерял он мгновения жизни и своей, и ночного человека, и Матвеева. Слушал Матвеев и горевал. Никто не скажет, никто не знает, сколько

качков отведено человеку! Лягут все, кто спит ли спокойно или томится, или плачет, или любит. Ляжет весь город, весь мир. Сколько бесчисленных раз перекопана земля! Как грустно, как одиноко ходит бессонный сосед! Сердце стучит и достучится, устанет стучать, как маятник у сломанных часов. Зачем учащать сердце? Оборвется струна — и жалкие концы повиснут, — и никогда не соединятся. И кому это нужно?

Матвеев одолевал себя.

В осенний, увядший день смотрел он на маленький полуголый садик во дворе, на задорно-бодрые астры, на скамейку с зеленой спинкой, на прыгунчиков-воробьев, на кошку... Кошка кралась к воробьям, желтя о песок белое брюхо, затаивалась у клумбы, извивалась, вытягивалась — воробьи вспархивали... И кошка, прыгнув на пустое место, на воробьиные шаги, отбежав за куст, начинала снова охоту... Матвеев засмеялся. Он вдруг подумал, как все тоньше и тоньше будет настольный маленький календарь, убывая на один листок в день, как опять закутается в зеленые веники сад, зарастет скамейка с зеленой спинкой сиренями и в кусту запоет летняя птичка... Все меняется, все проходит... И только тут, на земле, чирикают хохлачи-воробьи, крадутся кошки, стоит он у окна, думает, вот засмеялся, вот потрогал холодеющий мертвый косяк... Матвеев почувствовал, как все это ему дорого, близко, как это все значительно, важно и полно смысла.

Матвеев загнал свою печаль в длинные, задохнувшиеся усталостью, рабочие дни. Будто выгружал он на зарок неубывающие в реке плоты, течение наносило другие, поднялись по берегам высокие навалы, костры бревен, вершинника, а река была густа деревом, как студнем.

Война ненасытным погромом шла и сминала людей. Города, деревни, пашни и луга помнят и не забудут. Закапанная, как дождем, кровью земля, не рожающая, вшивая, охолодевшая, гнилая, покачнувшаяся на ногах, дырявая, раздетая, необутая — встала она в глазах Матвеева и закрывала собой все. Он прошел с армией Поволжье, Сибирь, Семиречье. А когда вернулся в Зеленые Горы и музыка играла встречу на вокзале — он жадно искал глазами на перроне: не встретит ли его из толпы острый и жадный взгляд? Слово не проходили нагруженные, как гирями, трудные месяцы — и еще на руке осталось тепло руки.

* * *

В Зеленых Горах зашаял заговор, разгорелось пожарище — и белые, как черные головни, вылезли из огня. Но не успели отзвонить колокола славу повстанцам, — в город ворвалась потрепанная и сбежавшая сперва Красная армия. Матвеева не успели убить. Опять на перекрестках стояли по Фроловке рабочие. Опять опрашивали прохожих. Опять город зарылся в домах. Чека долавливала последних.

Тут на вечеру кто-то робко постучал в двери к Матвееву. Он не удивился. Только забило вспугнутое, как чайка, сердце. Нина близко подошла и взяла его за руку. Она вгляделась в него и спросила:

— Вы догадываетесь, зачем я пришла к вам?

— Нет, — холодно ответил Матвеев.

Девушка недоверчиво покачала головой и задыхнулась:

— Мой, мой Володя арестован!

— А! — воскликнул Матвеев. — Это я хорошо знаю. Он сидит у нас крепко. Что же вам нужно от меня? И он освободил свою руку.

— Я не ожидала от вас такого отношения, — про-
бормотала Нина.

Матвеева взметнуло, он грубо и резко закричал:

— Чего же вы от меня ожидали?

Нина вытерла слезы и возмущенно мелькнула на него колючим взглядом:

— Вы издеваетесь над моей слабостью... над моим несчастьем!

— А вы, а вы не издеваетесь надо мной? — зашипел Матвеев, наклоняясь к ней, дрожа. — Где вы были, когда меня взяли с этой кровати?

— Что вы говорите? — в ужасе вскрикнула Нина, сжимая горло. — Володя был здесь?

— Да, да! — наступал Матвеев, красный, взбешенный, топая ногами. — Он смеялся надо мной! Кланялся от вас! Приглашал к вам в гости! Ка-а-к это вам покажется?

Девушка подняла перед своими глазами руки.

— Вы лжете, вы лжете! Он в тюрьме! Он не может оправдаться! Он неспособен! Он не мог так поступить! Не может быть!

Матвеев ничего не ответил и молча отошел к окну, повертывая ей спину.

— Но если правда? Какая низость! Какая низость! — спрашивала сама себя девушка. — Какая низость!

Матвеев не успел повернуться от окна, как Нина уже бежала по лестнице. Захлебываясь, закрывая рот рукой, сгорбившаяся, исхудалая, она выскочила со двора и быстро пошла по улице.

Вышла — и пришла любовь. Зажгла огневицей. Матвеев не находил оправдания себе. Он не помнил, как выговорил язык ложь, как он выдумал про офицера, как напугал ее и замучил, растолок, будто каблуками. Откуда-то изнутри встал перед глазами тю-

ремный двор. Оценилась у начальника сука. Выкинули щенят на снег. Щенята расплзлись и скулили. Тогда прибежали надзиратели и большими кожаными валенками растоптали их на снегу. Матвеев поморщился. Не так ли поступил он?

И когда Нина пришла снова, он сразу виновато и беспокойно сказал ей:

— Он не был, не был у меня! Я... я виноват перед вами! Я не сдержался. Но мне тяжело видеть вас.

Девушка сквозь слезы и гримасы радостно вздохнула и вцепилась в его руку. Она радостно раскрывала неслышающиеся губы:

— Я знаю... но его... но его... могут...

Злоба будто залаяла в его глазах. Он закончил за нее:

— Расстрелять!

И твердо добавил:

— И даже наверное расстреляют!

Девушка, придавленная и скорбная, не поднимала головы.

— Он взят с оружием. Ему не будет пощады, — закричал с гневом Матвеев. — Вы хотите моей протекции? Да, ведь вы этого хотите? Вы любовь мою к вам хотите обратить в выгоду? Поторговать, поторговать на моих чувствах?

— Освободите его, — бормотала Нина. — Да, да, потому я и пришла к вам. Если любишь, то... сделаешь все. Он ни в чем не виновен! Он случайно!

— Невиновен? — засмеялся зло Матвеев. — Так чего же вы плачете? Невинowych освобождают!

Девушка передернулась:

— Вы не умеете освобождать!

— Зато мы умеем быть беспощадными к своим врагам! — снова кричал на нее Матвеев. — Да знаете ли вы... если бы я мог помочь вам, я и тогда бы не помог!

Девушка встала.

— Вы... даже и любить не умеете! — презрительно сказала она.

Потом немного подумала. Остановилась в дверях, бросила:

— Ненавижу вас!.. Вашу вашу партию! Вы па-ла-чи-и! Матвеев спокойно и насмешливо пошутил.

— В вас говорит кровь Сергея Сергеевича.

— Не смейте, не смейте называть имя моего отца! Всех, всех убивайте! И меня... меня!..

— Что же — если нужно будет — и вас!

Девушка, шатаясь, вышла.

Второй месяц Нина бывала у него. Он целовал ей руки, обнимал ее, она сопротивлялась...

Матвеев, обманывая товарищей, выпрашивал об офицере, просил за него: на Матвеева косились.

— Скоро суд, — горько говорила девушка, — он живет последние дни. Мне сказали... нет надежды.

Матвеев жестоко и, радуясь, кричал:

— Ее и не было! Ее и не было!

Он нежно касался ее волос. В полубреду, забываясь, бормотал:

— Нина, я ревную, я ревную!

Девушка, дрожа, отстранялась.

И вдруг поединок кончился сразу, навсегда. Нина пришла поздно, ночью. Будто она встала с постели и непричесанная, в ночной кофточке, с накинутым пальто на плечи, пошла ночными улицами.

— И я хочу, и я люблю, — лепетал Матвеев, крепко сдавливая худую грудь девушки. — И они, мои убитые товарищи, любили! А ты хочешь только себе счастья. Он будет казнен... мы будем жить. Мы уедем отсюда... Его уже нет... Он уже расстрелян.

Нина вскрикнула и опустилась на пол. Матвеев целовал лицо, глаза, он расстегивал ей кофточку...

— Ты согласна? Ты согласна? Ты будешь моей? Он спит... Ты не изменяешь ему!

Нина отбивалась, толкала его, вскочила, рванулась и гадливо, прикрывая грудь, закричала:

— Ка-торж-ник!

Матвеев как-то вытянулся, побледнел и быстро-быстро-быстро стал шарить в карманах. Не сознавая, не помня себя, блуждая красными замученными глазами, он вынул маленький револьвер и встал в дверях. Девушка недолго смешалась, а потом пошла на него, негодую, презирая:

— Пусти-и-те меня, низкий каторжанин!..

Матвеев выстрелил. Нина упала. Дрожащее теплое тело с проступившей через кофточку кровью он бережно положил на кровать, прижался к нему с пола и зарыдал.

Осторожно, крадучись, спустился кто-то по лестнице на двор — и там закричали, забегали, застучали, засуетились.

* * *

Матвеева судил революционный трибунал. За судейским столом сидели его товарищи. Товарищи обвиняли его. Товарищи грудно и тесно и жарко облепили окна, хоры, скамьи. Матвеев стоял неподвижно и спокойно. Он только опускал глаза, когда допрашивали сгорбившуюся, тихо и трудно говорившую Нину. Он слушал, как рассказывали ему заново его жизнь, как вздыхала сочувственно и жалостливо толпа, как гудел глухой вентилятор в форточке, и кто-то и где-то плакал. Не шевельнувшись, выслушал приговор. Но когда зал начал рукоплескать, он весь просветлел и присоединился к рукоплескающим.

И тогда дико, отчаянно, протягивая руки к судьям, закричала Нина:

— Пощадите его! Пощадите его! Я люблю его! Я люблю его!

* * *

Говорят, на утро казнили белогвардейцев и Матвеева. Он встретился с Петушковым. Они внимательно посмотрели друг на друга — и отвернулись.

ЧЕРНАЯ ГРЯДА

В Черной Гряде была худая болезнь. Принесли ее мужики с отхожих промыслов из города; три дома занемогли, чурались их, а после войны остался на Черной Гряде один дом без червотчины. И тот скоро выехал на выселки.

Пили мужики порох, сколупывали болячки, а бабы ходили в поле на родник и, окоченевая, садились больным местом в ледянку. И каждый дом стыдился другого дома.

Была Черная Гряда небольшой маложительной деревенькой, бедной, понурой. Запахивали отрезки от барских земель на суглинке, ловили на Обноре мелкую рыбешку, драли корье, пользовались заливным лугом под деревней и держали по коровенке. Возили через день бабы молоко в город — и кормились.

Не убереглась слава о Черной Гряде на своей улице. Брали ребята в ближних деревнях девок в жены.

Шли, плача и кляня судьбу. Потом стали в деревнях черно-грядских молодцов принимать в колья, бежали от них врассыпную девки, прятались по горницам, а ребяташки дразнили, озорно гомоня издалека:

— Гнилые! Гнилые! Гнилые!

Раз вышли мужики на Черной Гряде в поле, глядят — в ночь деревню опахали поперек полей и лугов кругом: то загоняли в заповедную черту ближнедере-

венские мужики худую болезнь. Затаили мужики обиду и срам, поплакали бабы,— и разгладила Черная Гряда глубокую морщину на своей земле. Посторожили малость на первое время, чтобы опять не наварзали бороздой чужие мужики — и затихли.

В праздники, перепившись, вспоминали на Черной Гряде позор и шли драться на ближнюю деревню. Сначала перекидывались мелким камнем заедала-ребятишки, потом ввязывались по-старше и, наконец, в свалку лезло старичье. Редкий праздник не было с той и другой стороны проломов, увечий и смертей. Заклятая вражда разделила деревни.

Не выбирали в волсовет мужиков из Черной Гряды; не брали их на работу в совхоз „Вишенье“ на барских угодьях за Черной Грядой. Пришли они как-то на косьбу в „Вишенье“, а другие мужики косы на плечи — и с луга домой. Не могли управиться в „Вишенье“ одними черно-грядскими косцами — и пришлось обегать их, променивать...

Деревенька была тиха, не пели там, не смеялись, везли только тяжелую деревенскую работу, как и во всех деревнях. Будто не спорилось, убывало, а не прибывало добро. Ходили поджарые бабы — от тоски изъело — с надвинутыми на лоб, будто двухскатная крыша, платками, мужики бегали глазами по сторонам, хмурились, матюкали город.

Была за двадцать верст от Черной Гряды маленькая больничка. И туда ходили мужики: сорок верст с обратным... Сорок верст с обратным, а солнце не ждет, оно поднимает травы, оно сушит землю, колосит рожь, ячмень и пшеницу, наливает овсы, вытягивает злак на паренине, злак прорастает зелеными плешинами, туго дернует отдыхающую пахоть, солнце растит ребятишек — и овины топятся. А зимой солнце

погасает, выдувает в избах метель запасное тепло — и везут из лесов мужики березняк к себе на двор, в город, обихоживают скотину. И стыдно, и горько, и жалко итти в дальнюю дорогу.

Бабы не ходили: зазорно перед чужим мужиком-доктором спустить домотканые проймы с плеч, показать брюхо и стыд. Ходили к знахаркам, глядели промеж ног на закат до натуги у бань, садились на муравейник в лесу, выходили на медвежьи тропы у Трифона, становились нагие на четвереньки и ждали медведей, чтобы облапили, а мужики стерегли окол с ружьями.

Худая болезнь, как игла, вошла в кровь и ходила в жилах, подтыкала. Ждали, дойдет до сердца, уколет — и тогда помирать надо.

* * *

Миша Паничев с бабой своей Гашей были у церковного сторожа в Углицком. Лечил сторож человечьим зубом. Будто бы оставался он на ночь в церкви, когда были покойники, и выдергивал у покойников клыки. Откуда бы у него иначе зубы водились? Выбирал он зубы из черепов, когда рыл могилы, разбивал лопатой гроб и продавливал старые колоды. Обводил он пробойные раны, расковыривал чесотку, тыкал баб в брюхо от неплодия около пупа, мужикам поясицу тер, ставя на ней до крови крест. Облечив, отдавал зуб на вечное хранение, наказывая спивать его в чаю, а по ненадобности больше одного раза в год, сохранять зуб на божнице в правом уголку в солонице. Теряли зубы и шли к сторожу за новыми.

Попался сторож попу — завозился долго у покойника — поклялся не тревожить усопших. Как-то сладили. Верили в деревнях: не у всякого зуб годился. Один только сторож знал, какой пригоден, по нарезке там на серединке, не всякому глазу видной.

Когда зуб не помогал, сторож сердился, разводил, недоумевая, руками и говорил:

— Не иначе ты — непроварок. В непроём серьги не вденешь. Я тоже ограниченный человек. А ты неприкаянный ко мне. Ищи другого лекаря с большим смыслом.

Выждал два года Миша Паничев, своротил скулы сторожу, погрозился еще побить, затребовал обратно деньги и швырнул ему зубом в лицо.

* * *

Был на Черной Гряде старик пастух, а с ним пришлый бездомный подпасок. Привела от отца от матери Гаша сестренку свою Ксюшу погостить и оставила на все лето. Гаша свела ребятишек — по пятнадцати годов было — играли они вместе. Загонят стадо по хлевам на ночь, подпасок бежит к подруге, смеются, хохочут, бегают в перегонки, носятся по грядам на огороде из борозды в борозду. Старшие потакают и сами смеются.

Оставался подпасок, очередь приходила, кормиться у Гаши. Клала его в горницу спать. Не уляжется он, придет шарить чего-то около него, наклоняется задом, а подол высоко подоткнут, пощекочет его, тиснет на полу, навалится жарким мясом.

Разожгла понемногу Гаша подпаска. Когда увидала, токует мальчишка, пришла ночью, скинула рубаху — и легла с ним.

Спала с ним все лето и радовалась. Не подпускала к себе мужа. Ходил раскарякой подпасок и носил болезнь. Жаловался подпасок, приходил к ней в слезах, а Гаша ласкала его и шептала:

— Завсегда так бывает смолоду. Пройдет. Научи ты Ксюшку тому ж. Только гляди не делай ничего... Нельзя!

Подпасок старался, показывал Ксюшке, как спит он с Гашей, и как надо делать.

Ксюша пожаловалась сестре, а та погладила ее по спине и смеется:

— Верно, верно. Так и надо. Ты не бойся. Мотри только не спи с подпаском — он мой.

И Гаша что-то шептала, хохоча, Ксюше на ухо.

Ходили они до того — Миша Паничев с Гашей — в город Овражки к знахарке-огороднице. Та за малую меру дровишек научила пересилить худую болезнь. И назначила испытание от Петровок до Покрова.

Не выходили медведи на медвежьи тропы, не облапливали, не снимали хвори. Муравей не податлив и скуп в своей куче. Прячет он сок свой полезительный на самое дно в серое яичко, не найти его днем, ночью груды не видать... Только бывает какой-то замороженный день, никто не знает когда, лежит яичко наверху и уносит его ястреб. Ежели угадаешь до ястреба, счастлив будешь, а придешь — ястреб тут — выклюет он тебе беспрременно глаза. Мертвый зуб из тысячи один целитель. Не берет он мужика с черной и рыжей бородой, бабу злую, помогает он тому, кто ни комара не убил, ни овода с себя не согнал. А может снять худую болезнь только один человек: естество на естество, отроковица, или безгрешный отрок. Снимет он аль она, помучатся недолго, пошелушится притчее место — и зарастет. Так рассказывала знахарка-огородница.

Шли-бежали они из городка. Так и сделали. Совратила Гаша подпаска. Начал Ксюшу улещивать Миша Паничев. Ксюша опять к сестре. А та ей и сказала:

— Ты поспи с ним, Ксюшенька. Хворой он у меня. Он поспит с тобой и выздоровеет. Сделай это для сестрицы. От мы тебе из города бусы привезли в подарочек. Ни отцу ни матери не скажем. Между нас и заглохнет.

И замуж тебя отдадим девушкой. Будто и не было ничего. Мучились мы болезнью. Я избавилась: подпасок снял. Ты у Миши сними. Ребятишки у нас и пойдут, племяннички тебе.

Ксюша поплакала о горе сестрицы и пожалела. Миша Паничев на другой день в ногах у нее валялся, целовал ей маленькие черные ножки, величал ее избавительницей, а сестрица рубашку меняла из новины Ксюше.

Ждали Покрова. Но не дошло до Покрова, старик-пастух собрал мужиков и баб и объявил... Покаялись Миша Паничев с Гашей. Задумались мужики. Выспрашивали бабы у Гаши обо всем. Вся деревня ждала испытания. Продлили срок на ошибку до заговенья — не полегчало. И тогда повезли понятые в город Овражки Мишу с Гашей на одних санях, Ксюшу с подпаском на других.

* * *

Черную Гряду ближнедеревенские мужики еще раз опахали, отслужили молебен у огородов на меже с Черной Грядой, перекопали от нее крестом дорогу, перенесли отвода в другое место и перестали брать воду из речки Обноры. Черная Гряда с тех пор ездила по за деревнями в объезд.

КОРЗИНА

Вызвали из Борков в Москву зава одного из отделений энного треста с отчетом. Отчет был небольшой: четырнадцать папок весом пуд с четвертью, наглядных диаграмм сверточек с кипу шевиота, объяснительная записка с цифровым материалом на двух тысячах страниц аптекарской машинки, красно-сафьяновый альбом, содержащий портреты сотрудников, снимки лавочек, сараев, складов и других сооружений треста, празднование первого мая в Москве и Борках, парад Красной армии и заливные луга в городе Овражках. Прочие приложения не успели заготовить и решили дослать дополнительно. А всего вытянул отчет два пуда.

Телеграмма была беспокойная, тревожная, понукающая. Пришла она запоздно, когда уже контрольная доска в швейцарской с номерками опустела, и дежурный сторож писал в местком отчет за день. В то время, как зав, сидя у себя в кабинете в кресле с огромной спинкой, вышитой шелками, изображавшими чей-то дворянский герб,— корона на гербе была вырезана и замазана чернилами,— испуганно и таинственно читал, невнятно шепча: „срочно“, „немедленно“, „в порядке особой спешности“, „принимая во внимание“... — дежурный сторож снисходил к машинисткам, подававшим ему руку, убавляя минуты опаздывания и прибавляя оные к фамилиям, особо ему неприятным.

Зав вскочил. Сторожа забегали. Телефон начал вызывать четырех заместителей, пятерых помощников, четверых секретарей, ученого специалиста, экспедиторшу, конторщика-отчетовода, круглый год составлявшего отчеты за истекший период и о прогнозах на ближайшее двадцатипятилетие, согласно постановления съезда, конференции, эконо-дискуссии, пленума, тройки, восьмерки и расширенного заседания энного треста в составе трех тысяч человек с совещательным голосом и двух с решающим.

Поезд уходил через пять часов. Агент по закупке железнодорожных билетов помчался на станцию, шмыгнул к кассиру мимо живой очереди, голодными и жадными глазами глядевшей на деревянную задвижку кассы, похохотал, побалагурил, положил в жилетный карман билетик и просеменил скромно и вежливо около очереди. Проводили его глазами, сгрудились, заспорили о местах и начали заново устанавливать очередь, выгибаясь гуськом поперек вокзала.

Пять часов — время достаточное до отхода поезда: за час до отхода работу закончили потные, усталые, но торжествующие. Тут встретилось совершенно неподвижное за спешностью и серьезностью дела обстоятельство: не оказалось подходящих упаковочных средств, ни достаточно вместительных, ни достаточно гарантирующих сохранность отчета.

Зав вознегодовал, выражаясь на распространенном в Борках языке, исключенном Наркомпросом из учебных программ.

Не взирая на людские беспокойства, часовая черноглазая стрелка спокойно спускалась под гору.

— На квартиру! — взревел зав. — Шоффер, гони!

Перетаскали на форда затянутые шпагатом отчетные папки, посадили зава на пухлое черными щечками

сидение — и машина понесла свой лакированный зад на завовскую квартиру.

— Груша, Груша! — воззвал зав, вбегая. — Еду. Вызывают в Москву. Сегодня. Чемодан, чемодан, где чемодан?

Кухарка Марфа недружелюбно сказала:

— Ну, вот еще: чемодан! В чемодане одежда на лето убрана. В Москве такое воровство: безо всего оставят! Чемодан не дам без барыни. А барыни дома нетути с утра.

Шоффер, нагрузив выше головы отчетные папки, отгибаясь назад туловищем, осторожно пролезал в двери, задел за косяк, покачнулся, перехватился руками — и рассыпал груз.

Зав обнял свою голову, топнул ногой, но ничего не сказал, потопал еще и только зашипел и на Марфу и на шоффера. Тот лениво собрал папки, навалил на подзеркальник, укладывая их, придавливая альбомом и поддерживая зеркало, чтобы оно не рухнуло от бу-мажного брюха.

А Марфа весело и серьезно говорила:

— Бери корзину из-под грязного белья — и живет. Корзину я могу и без барыни опростать. А потом завтра у нас стирка — корзина не понадобится. О вечере станем белье замачивать...

— Замачивайте, замачивайте, замачивайте! — кричал зав. — Ты не понимаешь, не понимаешь, Марфа-Мария, какая ответственность! Ведь отчет, отчет, годовой отчет!

— Ну-к што, отчет? Ни хуже, ни лучше не будет, где ему лежать. В корзину ж глядеть не станут. Только што в чемодане, конечно, фасонистее, а гля дела — одна статья. Чемодан не выдам: сам знаешь барыню, какая она у нас есть напористая! Со свету сживет! Сама

с ним завсегда ездит, а тут тебе марать бумагам всяким пустым...

Зав пробежался по комнатам, суя в карманы нужные вещи, отдал лапу коту, привскочил на месте, занес борковское краткое изречение — и смял его, как изжеванную бумажку.

Марфа уже вытаскивала корзину в прихожую.

— О, добрая! — ласково бормотала она. — О, помещение! Тебя самого укладывай поверх бумаж-то. И брюшина не помешает.

Зав, при виде четверной черной и грязной корзины, с продухами, с отломанной крышкой, опять обнял круглую покрасневшую голову.

— Чудовище! Чудовище! Да не влезет она в вагон! Меня не пустят! Я гибну! Я растерян! Я задавлен косностью! Какой срам на весь город! У Тимохина не с чем выехать!

Выковыривая грязь из-за торчавших иглами прутьев, Марфа тихо отвечала:

— Чево не пустят да не влезет!.. Мастер делал, поди, соображал: по дорогам господа, али там товарищи с корзиной ездить будут. На пароходе лонись, только што каюты там маленькие, на палубе ехала, а вагоны не такие корзины видали.

Уложили отчет, затянули веревкой корзину, перетянули для крепости вышитым полотенцем, будто подпоясали, — и шоффер погрузил ее стоймя на форда.

Марфа провожала на крыльце. Зав, спеша и волнуясь, залезал в кузов.

— Чево барыне-то сказать не надо? — спрашивала Марфа. — Поскакал, будто настеганой.

— Скаж-и-и, ска-а-жи ей, — захлебывался зав. — Д-ду-ра она! И... ты дура!

Марфа весело улыбнулась и раскрыла рот.

— Фью-фью! Знай наших! Ой, правочки, смех и горе!

Форд рванул. Зав избочился и отвернулся от Марфы. А та беспокойно кричала в догонку:

— Комиссар, комиссар! Береги корзину-то! Негде будет твои ж тряпки хранить. Одежу-то не потеряй! Деньги бы не вытащили!

Зав закрыл глаза и сморщился. В полупустой корзине шевелился, ерзал и скакал отчет, будто везли там живых куриц.

С великим трудом, только для Тимохина, втащил носильщик корзину в вагон. Она заняла в отделении весь проход между лавочками. Зав растерянно и умоляюще говорил с пассажирами, просил, призывали кондуктора, проводнику пришлось дать, Тимохин совал всем телеграмму — и пилил и пилил Марфу.

Но нет в стране нашей родной препятствий, кои бы ни обошел несогласный ни с какими правилами человек. Над Тимохиным втихомолку посмеивались, но оставили его и только враждебно косились на корзину, развалившуюся под ногами огромной грязнобокой свиньей. Косились и будто не нарочно пинали.

Когда поезд пошел, в вагоне стало просторнее, вместительнее, за перебоем колес улеглись голоса, а через два — три перегона, подставив на корзину „Известия ВЦИК'а“, сбегав с чайником на остановке к баку с кипятком, Тимохин с вагонными соседями уже пил чай, кушал колбасу и рассказывал про энный трест, поставивший продукцию выше довоенной в городе Борках.

К ночи так все освоились друг с другом, что Тимохин, скаля зубы и веселясь на задумчивого русского человека, готового из-за непонятного другим нациям, хотя бы и объединенным в Коминтерне и Крестинтерне, душевного порыва уступить собственную лавку дру-

тому, залезал на трехвершковую вершинку и просил похранить корзину.

Помалу вагон затих. Зав то и дело спускал вниз голову и вглядывался в корзину, потом стал вглядываться реже, сделал последнее движение головой, уже дремля, не дотянулся до края и заснул, будто посматривая изпод сбившихся к носу волос даже во сне на свою кладь.

Пробуждение его было странно: поезд подходил к станции,—и словно сам зеленоглазый семафор осветил ему между глаз, и Тимохин стал слепнуть. Толпился недалеко от него в жидели рассвета вагонный народ, а один старичок в белой рубахе и жилетке, босой, говорил:

— Я благополучно объехал всю Европу, был в Италии, Париже, Лондоне, Германии. Путешествовал три года. Со мной был маленький чемоданчик. Я не обращал на него никакого внимания: оставлял при раскрытых дверях. Никто, конечно, его не трогал. Наоборот, каждый считал непременною любезностью напомнить о нем. Но как только на обратном пути я перевалил границу, задремал за Вержболовым — чемодан у меня украли. Это — Россия!

Тимохин тревожно взглянул вниз, задрожал и спрыгнул, не держась за полку, на пустое место: корзина исчезла. Исчезли соседи. В вагоне было много места, пять тимохинских корзин поместилось бы теперь без стеснения, но не было одной единственной корзины.

— Что, что, где, где? — лепетал зав, заболевая головой.

— Молодой человек, — сказал над ним босой старичок, — не вы одни-с! Я лишился всего своего багажа. Хуже того: я, как говорится, и бос и наг. Я смешон и жалок на старости лет... и... несчастен.

— Порошок, порошок! — бормотали люди. — Сонный порошок! Они усыпили. Я сплю, как гусь. Дым от папирасы выпустите, я услышу.

— Чего, у меня пустой мешок забрали!

— А у меня чайник!

— Не иначе они ехали в вашем отделении, — говорил босой старичок окоченевшему заву. — Никто, по проверке оказалось, не вышел, кроме их и совершенно безобидных людей с вами по соседству. Но как, но как они успели и где? Какая художественная работа!

В вагоне составляли акт. Тимохин вдруг, не дослушав, кинулся с остановившегося поезда на телеграф и, разбрасывая по бумаге, как смолу, чернильные брызги, написал две телеграммы.

ЖЕНЕ.

„Погрузился негодювал заснул пробуждение лихорадка обокраден корзины нет отчет не поверят тюрьма злоупотребления пуля молчи стыд бандитизм не плачь копии нет на все подробности письмом целую. Тим-тим“.

В ЭННЫЙ ТРЕСТ.

„Согласно телеграммы выехал на перегоне четверста версты украден сонном состоянии порошком злоумышленниками годовой отчет приложениями вместе помещением вещами деньгами весь вагон воры скрылись обнаружены скачки с поезда меры приняты акт есть еду личных объяснений“.

Тимохин поплелся, не замечая дороги, сновавших повсюду, будто разбежавшихся от неминуемой опасности, людей, толкаясь, шаря бурливший живот. Поезд долго стоял, набирая воду и нефть, отстаивая положенное по расписанию время. Зав уединился к стоявшей рядом бывшей железнодорожной часовне, красной

и неприятной в утреннем тумане, и сел на белую ступеньку лестницы. В часовне, видимо, был клуб. Была отломлена верхушка у креста и в перекладину всунут большой шест с маленьким, как кленовый лист, красным флажком. Флажок прыгал в глазах и сердил. Тимохин разглядывал лосные свои ногти, отдирав почерневшие в дороге заусеницы, а мысли, как июньская мошकारа, кружились в мозгах. Непоправимое, страшное надвинулось, будто сошлись два паровоза, хлопнулись лбами, жмакнуло промеж них тимохинское тело — и ничего нет.

— Ах, ты, елки зеленые! — проворчал Тимохин. — Какая беда! Негодяи! Как обошли дурака! Филя, Филя, Филя! Попался! Засмеют. А потом засудят. Заново составлять — год. Тьфу!

Мысли были, как заживо отодранные заусеницы.

Когда паровоз опять потянул свой вертялый хвост, Тимохин вошел на площадку и прижался к стенке, недружелюбно читая круглую надпись, запрещающую пассажирам во время движения поезда стоять на площадке. Даже плюнул, пренебрегая другой надписью со штрафом за плевки, сумма коего была стерта и на стертом месте поставлен жирный, как червь-выползок, вопросительный знак.

Из вагона вышел босой старичок, дернул за ручку уборной и сразу, заулыбавшись, сказал:

— Поздравляю, поздравляю! Испугом одним отделались? А вот я — нет... во вретище и рубище!

— Вы это что же, гражданин, издеваетесь? — уставляясь на него, недоумевая и запаяясь, было, начал Тимохин...

— Нате, нате, — в то же время удивился старичок, — да вы, батенька, должно быть, не знаете? Где вы были? Корзина же ваша нашлась!

— Как нашлась? — гаркнул Тимохин. — Где нашлась?

И он затоптался на месте, готовясь бежать в вагон.

— А на другой площадке. Она у вас, знаете, очень обширна. Видимо, воришки не успели ее вытащить. Или в темноте сделали ошибку. Ее бы волоком, вдоль, а они ее поставили стоячком, она должно быть от толчка сползла — и застряла. Вы из вагона давеча, а корзина тут как тут.

Тимохин распахнул двери, так, торопясь, скидывают пальто, пробежал вагон и загоготал самому ему непонятым голосом. Он жадно потащил корзину на старое место, долго уставлял ее, охорашивал, прибаутничал — и сел на нее несходящим сидком. Глаза его были влажны и светлы.

На одной из станций, подозревая и вглядываясь в босого старичка, он все же попросил его посидеть у корзины и конфузливо сообщил в трест:

„Прошу аннулировать первую телеграмму второй произошла корзинная ошибка найдена“, а жене, нежно жмурясь, кинул три слова:

„Обнимаю даешь нашел“.

В тресте прежде всего, увидав его, захохотали, долго и пронзительно, прыгая и скача на креслах. Зав отшатнулся к дверям, закрыл собою корзину, полагая, что именно она вызвала такое веселье, но тут ему подали четыре телеграммы, присланные Тимохиным в трест. Зав, недоумевая и твердя адрес треста, наконец, захохотал сам. Но что значит такая оплошность, когда отчет с приложениями был доставлен, передан под расписку сторожу и помещен под своим номером навсегда в кладовую. Корзину ему вернули.

Когда вернулся Тимохин в родные Борки, кинулся он, отталкивая жену, на кухню и горячо и долго, лобызая, обнимал Марфу.

СИВЕРКО

I

Посередке города Волока текла речка Моша. Берега у ней извилистые: будто пастушья плеть взвилась — и замерла на земле. От реки и Волок избочился весь. Прикурнул он к Моше горстями желтых и белых домишек, пристанями, белянами, перевозами, сорока богородицами на Верхнем и Нижнем Долу, Ильями в Каменье, Трифонами - на - Корешках, Стратилатами во Фрязинах.

Зимами его до коньков заносило, засугробливало. Только по одной Царской улице пройдет человек и не зачерпнет в валенки. А в осеннюю нюнистую пору в тумане заливался малиновый звон на Владимирской звоннице. Во всякую пору на соборной колокольне качал языком колокол в три тысячи пудов: от Ивана Грозного городу Волоку подарок. Медный дядюшка отдельно, густо выговаривал:

Певчие... соборные... в кабак... в кабак пошли...

А ему поддакивали из улечек, тупичков, переулочков, с площадей мелкотные колоколишки: наставлено было в Волоке церковь, как зерен на лопате. Кости боярские, посадские, купеческие услаждались под спудом медною славой — храмоздатели. Не для бедного люда

такой трезвон — испокон века кости бедного люда за околицу вывозили на кладбище Горбачевское. От звона будто медная обшивка на небе, а звезды — гвозди. От застав гудки заводские разинули пасти и, ну, вместились в колокольную потасовку, ноты путали, бу-бу-бу — изводились пронзительно.

Моша катилась в такой суматохе, пароходы гребнями колесными чесали воду, у пароводных пристаней матросы отмывали пот, на плотях гармонья чистила, а у бабы красное платье ветер, как конский хвост, раздувал.

Стоял Волок на Моше тысячу лет — ровесник Москве — избяной и дряхлый, как старуха, клетчатым платком повязанная с напуском в стародавние времена, вот свалится, рассыплется... а стоял.

II

У Богородицы на Нижнем Долу, у водопроводчика Кенсарина Штукатурова, баба родила сынишку, восьмого по счету.

Сидел Кенсарин в кабаке с другом задушевым и пьяненьким голоском говорил:

— Принесла Машуха моя парня. Г-герой! А я... я ничего. Прок-о-о-рмим! Я... я с-солощий! Водопроводчиком будет. Восьмерых сделали за милую душу... Баба, брат, у меня печь, а не баба! Ровно пироги печет, лешачиха, с ребячьей начинкой!

— Медаль тебе дадут, — пьяненьким голоском отвечал друг задушевный Кирюшка-слесарь, — как двенадцать будет, так и медаль. И в газетах прочие сообщения. Бери, значит, еще стакан, за новорожденного!

И брали.

— Эй, товарищ половой! — кричал Кенсарин. — Давай другой графин, безо всего!

Кирюшка горланил:

Пи-ил бы, да ел бы,
Да спал бы, да гулял бы,
Да не работал бы
Н-никогда!
Ух-ты!

И ногой притопывал.

Кенсарин ухмылялся.

— Почтенный, почтенный, потише,— останавливал половой,— запрещено - с в питейном заведении... И для других беспокойствие - с. Господин городской могут войти-с!

— Фар - р - аон?— бормотал Кенсарин,— селедка? Пой, Кирюшка! В участок, так и в участок! Нам все равно, товарищ мой милой!

— Нам все равно! — махал рукой Кирюшка.— Н-нас не запуга-е-шь!

— Безо всякого запугивания-с,— сердился половой.— Факты ежедневно-с.

— Наплевать нам на городских!— кричал Кенсарин.— Мы за свои любезные. На трудовые! Качай, Кирюшка! И качали.

Каждый год вспрыскивали родины то у Кирюшки, то у Кенсарина. А потом, перед запором кабака, Кенсарин плакал и горько шептал Кирюхе на ухо:

— Ребят, как щенят, у меня... и голодные и не обу-тые, Кирюха, ребята... Что же это за наказание нашему брату?

— Да,— плакал Кирюха,— я, брат, сочувствую тебе... а ты мне... У меня пятеро мал-мала меньше. А баба, как косточка. Прачка она. Господскую вонь стирает... А я... какой - то слесаришка, семь гривен в день. Маемся мы с тобой, маемся, голубок!

— Маемся!

Поп по сытинскому календарю имя выбрал новорожденному — Акиндин. Марья всплакнула. А семеро братишек стояли около постели матери, глядели на братца и на разные голоса звали:

— Кенка!

— Кенушка!

— Кена!

— Агу, тю-тю, Кенка!

Поп строго и поучительно сказал роженице:

— Не родись в день празднования мученика Акиндина. Из-за него не передвигать святцы. Мы следить должны, чтобы равномерно распределять имена по святцам, без обиды каждому угоднику. Вам бы все Иванов плодить?

Поводил вола Кенсарин, очухался—и за работу.

Переходил он из дома в дом, из квартиры в квартиру, паяя прохудалые водопроводные трубы, починяя раковины, бачки по уборным, лазил в колодцы на улицах, копался и рылся в грязи, пах ржавчиной, замазкой и водяной гнилью. Лет тридцать ладил Кенсарин железные водопроводные жилы, чтобы не мутнела ключевая вода и не осаживалась накипью в человеческом брюхе.

А время бежало без передышки. Год - другой — и у штукатуровского домишка с голым барабанчиком на кривых ножках дыбал Кенка и гукал отцу. Издали видел Кенка рыжий отцовский пиджак и кожаные опорки на босу ногу. Кенсарин вытирал ржавые руки о пиджак, подхватывал Кенку под - мышки, вскидывал выше головы и весело запевал:

Акинди-ин, Акинди-ин Кенсари-инович!

У Кенки захоныывало сердце, глаза круглились маленькими монетками, и на голове пушился белый пушок.

Отмахав Кенку, отец ставил его на-земь и вел за руку в дом.

— Катись, катись, колесо!

Кенка взглядывал на него и лякал что-то непонятное.

И, будто понимая, отец отвечал:

— Да, брат, кавалеристом, говорю, будешь: ноги ровно для седла сделаны! Ша-га-ай, ша-га-ай, малец! На ступеньку — раз, на другую — два. Вот как Кенка-то!

Кенка взвизгивал на отцовский голос, заглядывал отцу в лицо и широко заносил на ступеньку кривую ножку.

III

У Леонтия Ростовского, что в Дюдиковой пустыни, стоял особняк времен Александра Благословенного. Вывески на нем не было, а все знали хозяина: Каменков-Чефранов — председатель земской управы — хозяин.

Тут, вдогонку Кенке, родился сороковой Каменков-Чефранов — Игорь. Под сороковым номером голубыми чернилами в древней родословной его так и записали. А в кружочке поместили неподалеку мать — княжну Зубову-Бабушкину урожденную.

IV

Удил Кенка пескарей. Горя рыбу носил на веревочке. Срывался пескарь, Кенка сквозь зубы чиркал слюной и кричал:

— Не-чи-и-стая сил-ла!

— Ушел? — тянул Горя.

— Отойди! Захлесну! Чего под рукой стоишь? Какая это ловля?

Горя отбегал на песок и не сводил глаз с ныряющего поплавка. Кенка орудовал во-всю: к ногам Гори летел пескарь за пескарем. Горя жадно хватал прыгающую рыбку и рывком снимал с крючка.

Вдоль и поперек исшастали Мошу. Солнце жгло с утра, как тысячи печек, нагоняло пот, шелушило носы... Поудят-поудят и побегут по желтому горячему песку — яйцо можно испечь — купаться к Соборной горе. Ноги у Кенки обросли коростой, черные, будто корень у старого дерева, в ссадинах, синяках, на штанах разноцветные заплаты, Горя в коротких панталончиках и в желтых сандалиях.

Кенка горазд по саженкам плавать, Горя — на спине. Колесили под Соборной горой; на сваи — от старого моста остаток на середине — вылезали сидеть. Ныряли — кто нырнет дальше. А то — кто дольше просидит под водой. Потом изображали пароход колесный и в два голоса кричали: ту-ту-ту; потом брызгались.

Вылезут — и ну, кататься на песке, кувыркаются через голову, смотрят между ног друг на друга — и хохочут.

Так целый день на реке.

Вечером делили рыбу поровну.

Горя тихонько шел домой, оглядывался, а Кенка хвост трубой, удочки на плече, мчался конем, только песок из-под ног летел.

Дома Горю переодевали, все удивлялись на рыбу, мама приходила в спальню поцеловать на сон грядущий, папа по щеке трепал и делал буки; Кенка щепок на-таскивал матери на завтра с лесного склада: в укромном месте под забором доска отодвигалась в сторону для пролезания. Сторож будто не видел: на ворота по-сматривал — хозяина бы нелегкая не принесла. Ната-скает Кенка щепок, на бассейку за водой сходит пять раз, уберется спать на чердак. Дожевывает кусок хлеба на чердачной лестнице.

— Мамка! — кричит, — рыбу не позабудь, вычисти! Труды пропадут даром!

— Вычистила! Завтра в пирог загнем.

— То-то!

Кенка на соломенный тюфяк — юрк, глаза замело сном, а за глазами катилась большая, большая река, и тащил Кенка язя, вытащить не мог, — фунта на два язь, удище колесом, леска, как проволока телеграфная, натянулась, водил, водил Кенка язя, тяжело в руке — трах... оборвался, только свистнула над головой легкая леска без крючка.

Проснулся Кенка в испарине, вскочил... Светлынь. Пел фабричный гудок — уходили старшие братья на работу, стучали двери, мать провожала сыновей, отец сидел на кровати и прокашляться не мог от махорки.

Кенка с тюфяка — прыг — и пошла чесать на Мошу. До полуден ловит один.

Вон торопится Горя.

— Соня! — встречал Кенка, — а у меня во какой ушел лещ...

И показывал руками.

— Забирай рыбу. Айда на другое место!

Горя угощал пирожками, вынимая из бумажки.

— Идем, идем: некогда пустяками заниматься, — кричал Кенка и смотрел на пирожок. — Давай, впрочем, — на-ходу съедим!

Набивал обе щеки — и вперед. Горя семенял за ним.

Выбрались за город, за Богородицу на Верхнем Долу, в луга. Городское стадо бродило у реки.

Пастухи далеко сидели на кургане. Быки смотрели на ребятишек пристально и враждебно.

— Горя! давай подразним, — говорил Кенка.

— Я боюсь.

— В случае чего — в реку?

— Страшно, Кена! Быки — кровожадные животные.

Кенка бросил палкой, перекувыркнулся и помычал по-коровьи. Быки начинали реветь, ковыряли рогами

песок, медленно шли на мальчиков... Горя побежал, Кенка за ним. Спрятались за поленницы дров и выглядывали на быков. Быки ревели долго, становились на колени, топтали песок ногами и начинали бодаться между собой.

— Ну их к лешему! И взаправду на песке выкатают. Ишь, дьявол пудов на сорок будет!—говорил Кенка.— А места жалко. Пойдем на старое? А не то тут? Крупной рыбы теперь до вечера не поймашь: на гулянку она ушла.

Лето шло. Пескарей таскали решетами, а убыли нет. По всему берегу ловили ребята — и у каждого на веревочках рыба.

Посредине реки дяденьки ловили с лодок.

Кенка кричал:

— Эй, дяденька!

— Что тебе?

— Перевези на тот берег!

— Я, вот, тебе перевезу!

— Не твои ли это перевезенные? А, дядя?

Дяденька молчал. Горя тревожно глядел на дяденьку, ноги готовы побежать.

— Слышишь, что ли, рыбак? А, рыбак?

Дяденька ворочался в лодке, опаздывал подсечь рыбу — и грозил кулаком.

Кенка заливался смехом.

— Сноровки нет, сноровки нет у тебя, дяденька! — Пусти на твое место! Тебе пескарей ловить!

— Не кричите, ребятишки! — ласково тянул дяденька. Рыбу пугаете.

— Ишь, какой ласковый, папаша, — отвечал Кенка. — Почему не кричать? Не в церкви здесь. Указывать почнешь?

— Пошли вон!—уже ревел дяденька, оборачиваясь к ребятишкам всем корпусом с яростными глазами,—стрелять буду!

— Ха-ха!—заливался Кенка.— Да ну? Из поганого ружья стрелять-то будешь? А, дяденька?

Горя уходил потихоньку. Рыбак начинал сниматься с якоря.

— Я вот тебе, сукин сын, задам сейчас! Погоди ужо! Не беги, не беги!

Кенка камнем около лодки бульк, бульк,—и наутек.

Дяденька попусту снимался с места: отбежали уже далеко. Горя всех пескарей растерял набегу. Кенка подбирал и кричал:

— Стой, стой, Горька! Опять сидит в лодке!

Горя упрашивал не дразнить дяденьку. Кенка плясал на берегу, размахивал руками во все стороны. Рыболов грозил веслом и поднимался вверх по реке.

— Он нас заметил,—трусил Горя,—в следующий раз встретит и побьет.

— Меня побьет?

— И тебя и меня: он нас сильнее.

— А я убегу.

— Он догонит.

— Тебя догонит, а меня не-е-т!

— Он тебя не трогал? Зачем ты налетал на него?

— Ну, и иди к чорту, раз не согласен по-товарищески жить! Я с Никешкой буду ходить. Тот не такой трус. Проваливай! И рыбы не дам тебе. Я наловил, а не ты. Твое дело только терять. Побежал, как заяц, и рыбу потерял.

— Что думаешь—и уйду! Никешка, может, со мной пойдет, а не с тобой!

— Никешка-то? С тобой? Нет, дудки! Мы, брат, с ним—водой не разольешь! Иди к своей матери пироги

жрать. Гусь свинье не товарищ. Не рад и знакомству с тобой! Иди, говорю! А то запущу камнем.

Горя боязливо пятился и уходил недалеко. Кенка насаживал хлеб и закидывал удочку. Клевал сорожняк. В воздухе сверкали серебряные полоски; прыгали и прискакивали на песке рыбы. Кенка не смотрел за спину. Горя крутил на пальце веревку—не мог оторваться от рыбок, незаметно переступал ногами.

— Горюшка-а? — вдруг орал Кенка изо всей силы.— Где ты-ы?

И ухмылялся.

И во весь голос отвечал Горя:

— Кенка-а, где ты-ы?

И оба хохотали.

— Знаешь, Горя,—ласково говорил Кенка,—пойдем яблоки воровать! Я знаю сад у купца Кондратьева. Яблоков, яблоков—как на базаре. И все, понимаешь, красные, осинка, китайские есть. С переулка залезем: там амбары у него. Мы на амбар—да и в сад.

— Увидят!

— Кто увидит?

— Хозяева. Воровать надо ночью.

— Сказал тоже! И настоящие-то воры зря воруют ночью. Днем—разлюбезное дело. Купец думает: кто днем полезет? Никакой охраны потому нет. А мы тут дело и сделаем. Яблоки первый сорт. Мы с Никешкой в щелку смотрели. Ветер эдак качнет ветку, а она, как язык у колокола, закачается. Тяжелая, тяжелая. А яблоко о землю чок—и на-пополам! Не пойдешь, я за Никешкой тогда сигану. И с тобой больше никуда. Какой мне расчет время зря тратить? Мы с Никешкой мигнем друг дружке—и пошла.

Кенка замотал леску, похлопал удилицем по воде и опять к Горе.

— Идешь, говорю? Я и один залезу. Мне — один чорт!

Пошли. У Гори колотилось сердце в груди. Как цыпленок в яйце стучал носиком в скорлупку, стучала кровь.

Полезли. Кенка осмотрелся кругом и начал околачивать яблоки. Хватали. Горя набил карманы и насовал за лифчик. У Кенки рубаха пузырем.

Где-то, кто-то в саду кашлянул. Прыснули. В переулках вылезали — катились яблоки по дороге.

А в переулке стоял важный такой старичок с белой бородой, с тросточкой, в шляпе, качал головой и говорил:

— Воришки, воришки, скверные воришки! Ах, нехорошо! Как нехорошо! Какой стыд! Какой срам посягать на чужое добро!

Горя глаз поднять не мог от сандалий. Кенка подобрал молча яблоки с земли, закусил самое большое яблоко, поглядел на важного старичка и цыкнул звонким задором:

— Иди, иди своей дорогой, старина, помирать пора!

Старик завизжал, заплевался, замахал на Кенку тростью, запереступал ножками в брючках.

— Ах, ты, хам! Ах, ты, хамское отродье! Да как ты смеешь, негодяй? Горо-до-вой! Горо-до-вой!

Кенка сделал старику нос, похлопал по заднице себя, толкнул Горьку — и побежали.

Оглянулись. Старичок утирался платком белым, присел на тумбочку, грозил вдогонку тросточкой.

Кенка остановился, посмотрел между ног на старичка и запустил в него яблоком: яблоко разбилось около старика.

Наелись яблоков до отвала. Перекидывали остатки через Николу-Золотые Кресты, куда сторож не выбежал с бранью на посрамление церковное из сто-

рожки. Яблоки о железную крышу бились со звоном, перепугали стрижей, весь воздух исчертили черными карандашами стрижи вокруг Николы-Золотые Кресты.

Как сторож прогнал, залезли на огороды к огороднику Степке Махорке: воровали огурцы. Махорка спустил собак. У Гори псы оторвали штанину: на ниточке удержалась, у Кенки куснули ляжку. До пристаней гнали—едва не съели совсем. Горя расплакался. Кенка одной рукой ляжку тер, другой жрал огурцы.

— Из-за тебя,—нюнил Горя,—воруйте с Никешкой, а я не буду, не буду!

— Ну, и не воруй! Эка беда—штаны разорвали? Мне вон мясо выкусили, а не плачу. Думаешь, не больно мне? Не плачь, говорю! Столько нет, так не ходи, сиди дома у матери под подолом!

— Не смей... не смей маму трогать!—бросился Горя с кулаками на Кенку и забарабанил по чему попало.

Кенка съездил ему по уху и лягнул пяткой в брюхо, шла мимо баба деревенская—разняла и каждому сунула по совку.

Пошли по разным сторонам улицы, грозили друг другу и ругались с плачем.

— Вы ругаться на улице?—закричал городской.

Понеслись опрометью, вопя звонко и резко:

— Селедка! Селедка! Селедка!

Городской сорвался с поста, подбежал немного и бешено начал свистеть.

Сбежались ребятенки вместе и скрылись за поворотом. Тут повстречалась нищая Даша-дурочка, большая, как колокольня, под зонтиком и в серых мужских валенках.

Кенка ее за платье сзади—дерг... а она его—зонтом...

— Провались! Провались! Провались!

— Даша двухэтажная! Даша двухэтажная! — орал Кенка.

— Двухэтажная, двухэтажная! — подпискивал Горя.

— Брысь, чертяки! Брысь, сатаняки! Фук, фук!

— Даша-дурочка! Дурочка-Даша!

— Дурочка!

— Скаты безрогие, — промолвил купец, высовывая из окна большую волосатую грудь. — Петру-у-шка, поддай им по зашеям за святую женщину!

— А я вот чичас! — кто-то загорланил за воротами.

Кенка отдал честь купчине и гаркнул:

— Умой рожу-то, чортушка!

Купчина побагровел помидором и наполовину вылез из окна.

А Горя запел:

— Пуд Иваныч! Пуд Иваныч!

Купчина долго рычал вслед:

— Хороших родителей! Нехороших родителей!..

Озорovali они весь день, пока не надрал им уши перевозчик Титко: застал на своей лодке, раскачивались туда-суда на воде, бортами стукались о камни.

V

К ночи ливень, как плотину прорвало на небе, хлынул на ребятишек: не успели добежать до Рубцовской роши. За пять верст унесло от города.

Нагишом собирали дрова в чаще. Разожгли кострину с масленицу: сушились. Грели чайник. Кидали в чернозвездное небо кровавые головни. Лазили на деревья и качались на ветках. Перескакивали через костер. Кенка подпалил штанину — палениной понесло. Никешке — боролись — свернули шею: едва разгладил. Строили шалаш из ельника.

Лес надвинулся и обступил немым темным обручем, насупился из-под шапки. Валились падунцы-звезды. Всполохи разговаривали за лесом. Задыхались над костром ночные бабочки. Ступились комары.

Кенка с Никешкой уплетали картошку. Горя лежал на животе в шалаше и глядел на огонь. Ненарочно закрывались глаза. Глухо говорили, будто под землей. Кто-то крикнул. Вздрагивал. И опять глядел на огонь. Кенка и Никешка молчали.

Огонь в костре — тырк, тырк... Клал Горя на руку голову. Снилось — Кенка на голове ходит, как в цирке, а Никешка из-за костра вылезает, весь красный, только рожа в пепле, и волосы дыбом. Горя ка-а-к крикнет!.. И за нос схватился.

Кенка с Никешкой от хохоту катались по лугу. Горя из носу выдернул длинный канареечник. Вскочил на ноги, и шваркнул Кенка еловой веткой. А Никешка подкатился к нему под ноги и опрокинул Горя. Зака-тались втроем.

— Чего, дура, спишь? — сердито сказал Кенка, когда устали друг друга тискать. — Пришел в лес на ночь, так нечего спать! Попробуй, усни, мы те в штаны уголья накладем!

А Никешка:

— Накладем, ясно!

— Я вам накладу! Я палкой!

— Кто кого еще палкой сперва? Сидел бы дома, а то увяжется! Ну, скажи, зачем пошел?

— А ты зачем?

— Я тут с тяткой, поди, с пяти годов хожу на ночь. В прошлом году мы лисицу тут видели.

— Да, видели! Наврешь ты!

— Я навру? Я навру?

— Я, что ли?

— Ах, ты, макака чортова! Пойдем, спроси у тятки. На что биться хочешь? У тебя есть гривенник?

— Есть.

— Давай на гривенник биться: если вру я — тебе гривенник, если не вру я — мне гривенник! Никешке разнимать.

— У тебя и гривенника-то нет: ты проиграешь и не отдашь!

— Я не отдам? Да, я на целый полтинник могу биться. Рядом с нами живет старая барыня, все куриц жрет, а резать боится, я у ней резаком. Она мне вперед под куриц даст не то что гривенник, а рупь. Идет на полтинник? Ну?

— Ему жалко,— говорит Никешка.

— А какой у лисицы хвост? — допытывался Горя.

— Хвост? Длинный и рыжий. А мордочка востренькая. Другие такие собаки у господ бывают. Ты тоже из господов,— у тебя нет такой собаки?

— У нас волкодав.

— Волкодав, а, поди, давит крыс! Хочешь, что ли?

— Нет, не хочу.

— Сгузал, сгузал! В следующий раз по морде съезжу, если будешь зря задевать. Вру! Я никогда не вру. Тятка еще этой старой барыне — куриц-то любит — при мне рассказывал про лисицу. Барыня его сортир починять позвала. Я к отцу и забежал. Тятка говорит: ружья не было, по грибы ходили,— не ушла бы лисица — хороший мех. Барыня еще с ручками под платком поежилась так — сидит у сортира, чтобы отец не стянул, думает, чего из ее добра — и говорит: „Какой вы, Кенсарин, жестокий“. Выкает старая хрычовка, а сама отца вором считает — так под ее глазами тятка весь день и проработал, не отошла, у сортира и пирожки кушала. Тятка, не будь глуп, ей на ответ: „Грубость наша, барыня, тому дело,— образования у нас никакого. Не то что зверя, человека для нас убить ни-

чего не стоит“. Вот залил, чорт! А сам усмехается. Я тут барыне — осерчал на нее — такая противная, пухлая, как квашня в ноздрях, к руке прилипает тестом, — не отскребешь... „Сама, небось, куриц, говорю, заставляешь резать...“ Отец на меня глазами как пальнет: „Тебе чего тут? Марш домой на наседала!“ А барыня ему: „Ничего, ничего, Кенсарин, я не сержусь, я ему растолкую, он еще глупый мальчик“. Отец на меня замахнулся тряпкой, я из квартиры, конечно, айда. Глупый? Старая сквалыжина! Долго потом не звала куриц резать — но обошлась, зовет. Прихожу на двор. На крыльчике сидит. Ласково так улыбается. А я чорт-чортом с топором. „Кенушка, — пиликает, — зарежь курочку, отруби ей головку“. „Где?“ — говорю. Куриц зовет: тю-тю, тютеньки! Курицы, дуры, около ее хохлами трясут. На коленки ей собираются. Пощупала, которая пожирнее — на-вес подняла, поцеловала ее будто — и подает мне. Я, конечно, топором раз — и не копайся. Гляжу, старая червоточина глаза зажмурила и как плачет. Потом мертвую гладить почала, по-бабы запричитала будто: „Прости меня, курочка, прости, голубушка“. Во! А ты вру? Сам не видел, так думаешь, и другие не видели? — Я на картинке видел.

— На картинке что? Ты живую увидай! Это совсем другое дело. Чучела из лисиц делают. Есть в городе чучельщик Арсеньев — полная комната всяким зверьем заставлена. И лисицы есть. И шерсть настоящая, глаза только стеклянные, а того нет, как у живой вид.

Горя помолчал. Кенка подбросил хвороста в костер и сплюнул. Никешка пальцы в рот запихал да ка-ак свистнет! По лесу покатился горошинками свист, испугались будто деревья и зашелестели листьями. Кенка заорал благим матом:

— Грабят! Грабят! Карраул! Грабят!

И пока в лесу кричало эхо „грабят“ — оба хохотали. Горя испуганно поглядывал по сторонам и забился поглубже в шалаш.

— Давай, Никешка, уьем Горьку! — вдруг серьезно сказал Кенка, — у него гривенник есть. Уьем и зароем в лесу. Никто не узнает. А и узнают — ничего не будет — мы маленькие!

Горя из шалаша ответил торопливо:

— Я и так отдам. Я с вами последний раз дружусь, раз вы такие...

— Ты теперь в наших руках, что хотим, то и сделаем.

— Чего с ним разговаривать! — закричал Никешка. — Давай деньги.

Горя долго рылся в карманах, наконец, подал Кенке серебряный гривенник.

— По пятаку на брата, Никешка, — спокойно сказал Кенка. — Славное дело сделали!

Горя всхлипывал.

— Экая баба! — возмущался Кенка. — Замолчи, дьявол! Говорят тебе, замолчи: все равно уьем! Понапрасные слезы!

Горя зажимал рот, голова тряслась, по рукам бежали слезы.

— И зачем ты только валандаешься с нами, плакса? — сердился Кенка. — Попался теперь! Нечего! Мы, брат, с Никешкой тебя нарочно сюда заманили: нам деньги нужны!

Горя заревел во весь голос:

— Что я вам сделал, что я вам сделал?

Кенка с Никешкой шептались, Горя видел и в ужасе забирался в глубину шалаша.

— Вылезай! — командовал Кенка. — Конец твой приходит! Никешка, точи нож!

Никешка выхватил из кармана маленький перочинный ножичек, плюнул на него и шаркнул о рукав рубахи.

— Не вылезу, не вылезу! — рыдал Горя.

Никешка пронзительно свистнул раз и другой, Кенка на четвереньках пополз в шалаш, Горя бился о заднюю стенку... Кенка сильно схватил Горя в охапку, прижал к себе и сказал:

— На тебе твой гривенник! Мы же в шутку!

И залился смехом. Горя не верил и долго еще плакал, держа в кулаке свой гривенник.

— Во, дура! — удивлялся Никешка. — Поверил правду!

— Ну его!

Горя долго не мог успокоиться, рассматривал свой гривенник, слезы капали на него. Наконец, опустил гривенник в карман и тихонько выбрался к огню из шалаша.

— Что, струсил? — спрашивал Кенка, — поди, страшно было?

— Да-а, страшно! Я нарочно!

Кенка и Никешка прыскали.

— Говори там...

— Рассказывай...

— Во, вывернуться хочет!

Горя молчал.

Вдали закричала сова. Где-то свалилась сухая ветка.

— В лесу, как думаете, ребята, есть разбойники? — спрашивал Горя.

— Были да сплыли, — отвечал Кенка. — Какие в таком лесу разбойники? И лес-то с рукавицу!

— Ну, это ты напрасно, Кенка, — не соглашался Никешка, — позапрошлый год тут, говорят, девку убили, титьки вырезали и всю одежду поснимали.

— Так это не разбойники, а свои же деревенские али цыгане. Разбойники, те шайкой нападают.

— Чего на одну девку шайкой нападать? Дал ей раза — и пар вон!

— Какая девка! Другая девка с пятерыми справится. На девку разбойники и нападать не станут. Чего им от девки взять? Разбойники — те насчет купцов промышляют — из-за денег убивают. Они живут в дремучих лесах — по тропке ходят. Никому не добраться до их жила!

— А как они зимой живут в лесу, — ведь холодно?

— Холодно? А шубы на что? Зимой они с купцов зимние шубы сымают для тепла, а летом — пиджаки и жилетки. Так и живут!

— Пойдемте, ребята, в разбойники, — предлагал Горя, оснуем шайку. Мне нисколько не страшно! Будем выходить на большую дорогу с ножиками.

— Ты не годишься, — говорил Кенка, — ты со страху всю шайку провалишь. Тебя только разве в кашевары возьмем вместо стряпухи, потому как у разбойников бабов не бывает.

— Я и без вас осную, — сердился Горя, — а в кашевары не пойду. В кашевары можно взять нашего повара. Как у папы, на жалованье, он пойдет.

— Разбойников из богачей не бывает, — говорил Никешка, — разбойники богачей грабят. После отца тебе, поди, папуша денег останется. Зачем тебе итти в разбойники? Нам с Кенкой — другое дело!

— Чорт с ним, возьмем, — махнул рукой Кенка. — Деньги его — в общую кассу. Я атаманом. Согласны, что ли?

Никешка пальцы в рот — и засвистал. Кенка с Горей дико закричали на невидимые жертвы разбойничьей шайки.

Ночь светлела. Костер дотлевал. Ребятенки устали, забрались в шалаш и прижались друг к другу.

— Не уснуть бы, ребята, — беспокоился Кенка, — после дождика грибы в ночь растут. Проспим — деревенские все охватят. Можно много набрать сегодня.

— Нет... зачем спать... — бурчал сонный Никешкин голос.

— Я... нельзя, — бормотал Горя.

Клевали, клевали носами, вздрагивали, слюнки текли изо рта...

Проснулись от холода. Вскочили.

По небу расстилались кудрявые шкуры белых облачных медведей, солнце чуть трогало их своей золотой кистью, красные солнечные реки текли из-за окоема, выходили из берегов и разливались золотым половодьем по лазури. И вместе с солнцем проснулся ветер, подул на рощу широкими губами, и роща трепетала, гудела, кланялась, кудрявилась, листала зелеными гривами.

Ребятенки аукались, собирая грибы.

— Ребята! Ребята! Вот так боровик: с катаник будет! — кричал Кенка.

VI

Мама за обедом сказала:

— Гога, тебя папа видел на улице с каким-то уличным мальчишкой.

Гога весело ответил:

— Это Кенка.

— Кенка?

Мама подняла брови, как два крыла ласточки.

— Кто такой Кенка?

— Мой друг.

— Твой друг — уличный мальчишка?

— И совсем он не уличный мальчишка, — возмутился Гога.

— Но, кто его отец?

— Я с отцом не дружусь. Он водопроводчик, пьянчужка. Хотя и он, повидимому, мама, славный человек. Недавно подарил мне большой кусок олова. А какую я у них, мама, кашу ел! Никогда у нас не бывает так вкусно. Смешно, понимаешь, кушали все из большого блюда деревянными ложками. Я сначала стеснялся, а потом ничего — у них очень просто!

Мама кончила кушать, в ужасе откинулась на стуле и пристально глядела на отца испуганными глазами.

Каменков-Чефранов язвительно ухмылялся.

— Ты слышишь, Поль?

— Да, миленькая компания!

— Какой ужас! Гогу надо к доктору!

— Я, мама, здоров,— вмешался Гога,— почему к доктору?

— К доктору — не доктору, а надо принять меры,— прекратить это безобразие!

Отец сердито насупил и уставился злыми глазами на Гогу.

— Скверный мальчишка! Я тебе запрещаю встречаться с хулиганами! Запереть его на неделю дома и не выпускать!

Гога низко наклонился над столом. Взволнованно дышала мама и терла себе виски.

— Поль, но если поздно?

— Что поздно?

— Он, может быть, заразился?

— Ерунда!

— Гога, когда ты кушал кашу?

Гога трудно и тихо ответил:

— Я у них часто обедаю... И вчера, например. Вчера, положим, была овсянка...

Отец резко встал, сорвал салфетку из-за галстука, швырнул ее на стол и быстро ушел к себе в кабинет.

Мама заморгала глазами, укоризненно качая на Гогу головой.

— Что ты наделал, Гога? Как тебе не стыдно расстраивать папу?

Гога высморкал нос и недоумевающе спросил:

— Но почему, мама, я не могу кушать кашу у моего друга? Я ему даю пирожков, у него пирожков нет, он меня угощает кашей...

— Ах, опять ты за свое? Ты не должен, ты не смеешь водить с ним дружбу. Он — не пара тебе. Он — уличный мальчишка. Он — сын грязного рабочего... Ты для него — барин. Ты от него научишься одному низкому...

— Неправда, неправда! — закричал Гога. — Ты не знаешь Кенки. Он — славный и благородный мальчик. Вчера мы шли с Кенкой, — дворник у собора ткнул меня метлой: дворник подметал, я не заметил и помешал ему. Кенка запустил за меня камнем в дворника. Кенка храбрый мальчик. Я ему, мама, даже завидую. Тут среди бела дня забрались мы в сад за яблоками к купчишке Кондратьеву, а Кенка...

— Ты воровал яблоки?! — простонала мама.

Гога смутился.

— Нет... нет, не я... один Кенка. Я только подбирал яблоки. Он залез... По саду бежит сторож... Кенка видит, что бежит сторож, а еще и еще рвет яблоки. Только бы сторожу схватить его, Кенка через забор. Вот какой храбрый! А я трус, я раньше убежал...

Гога показывал руками и глазами, как Кенка воровал яблоки, но мама рассердилась и строго ему сказала:

— Иди в свою комнату!

Она позвонила в грушу под лампой. Гога не успел ничего возразить, как вошла горничная.

— Паша! Гога наказан. Не выпускайте его на улицу!

Гога с плачем убежал из столовой. Он уткнулся в подушку и долго рыдал. Паша приходила успокаивать.

— Отстаньте, отстаньте,— кричал Гога. — Я несчастный, самый несчастный человек!

Между тем, Кенка устал ждать Горьку на реке, пошел к дому своего друга и встал напротив. Долго никто не показывался в окнах. Кенка упорно ждал и негодовал на друга-обманщика. Вдруг в одном из окон мелькнула голова Горьки и скрылась; Кенка вздрогнул, поднял маленький камешек и осторожно бросил в окно. Горька подскочил к окну — и замер. Кенка делал недовольные знаки. За Горькой появилась какая-то женщина, отвела Горьку внутрь комнаты и стала внимательно и пристально разглядывать Кенку злыми глазами.

Кенка смутился — и тихонько пошел прочь. Из ворот выскочил дворник в красной рубаше и закричал вдогонку:

— Ты это што? Ты стекла бить?!

Кенка бросился бежать вдоль улицы без оглядки.

Целую неделю гулял Кенка с Никешкой и по-всячески ругал Горьку...

— Ты, понимаешь, Никешка, дворника на меня выслал! Я за ним пришел, а он на меня — дворника! Попадись он мне теперь, я ему дам взбучку. Хо-ро-ошую дам взбучку!

— Может, не он, а мать выслала?

— Какая мать! Это он, он. Других себе, значит, друзей завел, дьявол. Я ему отомщу! Не все дома сидеть будет. Выслежу, куда ходит.

Никешка с Кенкой каждый день проходили по Горькиной улице, забегали с другой улицы к Горькину саду, перелезали через забор и высматривали или садились верхом на забор, давая свистки, кричали по имени друга, но Горьки не было.

— Не захворал ли? — говорил Кенка. — Парень он гнилой. А, может, куда уехал? У него своя деревня есть говорил.

Кенка удил один на Моше и часто думал о друге. Рыба была на веревочку вздета, а веревочка к поясу привязана — и не было помощника по носке рыбы. Кенка ходил по тем местам, где с Горькой ловили — не пробежал бы мимо, и место жалко менять.

Под Соборной горкой и встретились после разлуки. Кенка глядел, как по высокому берегу бежал, сломя голову, Горька. У Кенки сердце затукало, начал подскакивать не во-время, — все промашка, а виду не показал. Подбежал Горька, сунул руку.

— Тебе кого? — с сердцем спросил Кенка. — Проваливай к чорту, а то по едалу съезжу!

Горя опешил.

— Знаться с нами не желаешь? Я к тебе по-товарищески, а ты дворника?..

— Да ты с ума сошел, Кенка? Это не я!

— А кто?

— Мама велела прогнать.

— Сука — твоя мать!

— Ты не смеешь, не смеешь! — возмущался Горя.

— Сука, сука и есть! Что ты мне за указчик?

— Ты дрянь, ты дрянь после этого! Мама у меня хорошая. Она добрая. Я ей все про тебя рассказал — она и поверила. Она тебя посмотреть хочет. А ты ее так называешь.

— Что я — зверь какой, буду твоей матери показываться? Пошла она к чорту вместе с тобой! Мне и с Никешкой хорошо. Мы, брат, с ним змей варганим — весь город увидит. Один хвост в две сажени сделали из нового мочала. И с трещоткой будет змей. Вот только бумаги настоящей нет, да найдем. К тебе не пойдем кланяться!

— Ты погоди, Кенка,— заговорил Горя,— давай помиримся. Пойдем ко мне. Я тебе книгу покажу с картинками. Ящик у меня с музыкой есть. Заведем — он и заиграет. И мужичок выскакивает изнутри, кланяется на все стороны.

Кенка задумался.

— Поди, врешь — ничего у тебя нет? Никакого ящика. Так просто заманиваешь?

— Честное слово, Кенка, есть! Пойдем! Вот увидишь — есть!

Кенка в нерешительности думал.

— По роже дам, если наврал! Смотри, Горька!

— Пойдем, пойдем!

Идут.

Кенка несколько раз упирался, останавливался, поворачивал обратно, Горя уговаривал — шли. Чем ближе к дому, тем чаще Кенка упирался.

Горя в отчаянии тащил его за руку.

Дошли.

Горя судорожно зазвонил. Кенка опустил голову и мрачно смотрел на огромные дубовые двери. Горя не выпускал кнопку, одновременно стуча в дверь кулаками.

Кенка шептал:

— У тебя мать сердитая?

— Нет, нет, добрая!

Паша недовольно отворила дверь.

— Чего ломитесь? Звонок слышен на весь дом.

Горя, сияющий, закричал:

— Вот, Паша, Кенка! Кенка пришел!

Паша процедила сквозь зубы:

— Эка невидаль ваш Кенка!

— Ты ничего не понимаешь! — возмущался Горя.

Кенка бросился на улицу, но Горя крепко схватил его за рукав, а Паша захлопнула двери. Кенка был в плену.

Он покорно дал себя вести.

Мальчики расположились в комнате Гори. Горя суетился, бегал, доставал книги, заводил ящик с музыкой, показывал все свои игрушки. Кенка пробовал пистолет, косился на книги, удивлялся на кланяющегося мужичка.

— Знатная штука,— шептал пораженный.— Как выдывает, сволочь!

Горя торопливо раскладывал по комнате рельсы, снаряжал поезд. Маленький паровоз пищал, трогались вагоны и упирались, разбегаясь, в угол.

Кенка хохотал от изумления.

— Ну, и ну!— говорил он.— Чудеса! Во, это—игрушка! Как настоящий поезд! Места только мало тут.

— Да, места мало. Знаешь что? Я сбегая к маме и попрошу разрешения в зале пустить! Зало у нас большее—с пять этих комнат. И папы нет дома.

Кенка тревожно глядел на двери.

— Ну, ее! Не надо. Не ходи! Здесь будем играть. Не зови матери: она у тебя—злющая.

Горя смеялся.

— Да нет же, нет, Кена, ты не бойся, она ничего тебе не сделает.

— А дворник меня не схватит? Ты без подвоха? А?

— Нет же, Кена, нет!

За дверями раздались шаги, слышались голоса — мальчики повернули головы. Двери отворились, и в дверях увидал Горя маму и папу. Горя покраснел, Кенка исподлобья враждебно взглянул на вошедших, не двигаясь. Горя вскочил и лепетал:

— Кенка... вот, папа, Кенка... мама, Кенка...

— Хорошо, хорошо, Гога,— сказала мама,— успокойся, мальчик! Мы видим.

Кенка согнулся в три погибели к полу, Горя только успел шепнуть другу:

— Поздоровайся!

Кенка нехотя встал, не глядя подошел к вошедшим и молча подал им руку. Мама и папа засмеялись, не принимая руки.

Кенка стоял посреди комнаты, грязный, босой, без пояса, вихры лезли во все стороны, ему было неловко под взглядами старших, убежать бы, стрекнуть в окно...

— Игра-а-ете?— начал папа.

Кенка услышал голос и торопливо ответил:

— Глупости все!

Родители переглянулись.

— Вам, молодой человек, не нравятся Гогины игрушки?— продолжал папа, брезгливо разглядывая обветренные ноги Кенки.

Горя семенил ножками около отца и восторженно вмешался в разговор:

— Что ты, папа, папа, он без вас смеялся и удивлялся. Он никогда не видал таких игрушек. Он раз двадцать заводил музыку. Он стыдится играть. Он— чужак. Представь, он не хотел, чтобы мама приходила сюда! Тебя, мама, он считает непременно 'злющей'. Вот какой Кенка!

Кенка делал знаки Горе и дергал его за рукав.

— Верно, верно! Нечего, не дергай! Вот ты увидишь, мама не рассердится!

— Скажите, мальчик, — протянула мама, — почему вы так дурно обо мне думаете? Скажите откровенно. Вы меня же не знаете?

Кенка злобно зашипел:

— А зачем дворника посылала меня бить? Мне Горька говорил, я знаю. Я ему чуть по шее из-за тебя не накла: думал, он виноват, а это ты.

Горя в отчаянии взглядывал на отца и протягивал руки к Кенке.

— Мама, мама... он не то, не то хотел сказать!..

Кенка рассердился:

— Чего не то? То-то-то! Сам же говорил. Чего ее прикрываешь? Молчи уж! Моя мамка как тебя любит, не меньше меня. Она так никогда не сделает. Скажи, неправда?

— Да я... я ничего, Кенка. Это правда!

— Вы ошибаетесь, мальчик, я вас не велела бить. Вас никто и не бил.

— Когда я удрал — и не били! Загривок у меня не купленный. Всякая баба рукам будет волю давать!

Отец вздрогнул и нетерпеливо зашевелился на стуле.

— Поль, что он говорит? — воскликнула мама.

Папа брезгливо поморщился.

— Мальчик, зачем вы так грубо выражаетесь? Кто вас научил?

Кенка весело засмеялся.

— Чему тут учиться — не хитрая штука! Тятка у нас такое загнет спяна словцо — иконы выноси. Вон Горька слыхивал. Мы не благородные: нам можно!

— И Гога умеет так выражаться?

— Это Горька-то?

Горя стоял пунцовой редиской, глаз не казал от полу. Кенка вдруг хитро улыбнулся.

— Нет, Горька и меня останавливает от руготни. Учит, значит, господскому обращению.

Горя весь расцвел и восторженно не спускал глаз с Кенки.

— И вы его слушаетесь?

— Не больно-то! Я привышный. Где Горьке меня учить! Учи ученого — хлеба испеченого. А ты злая. Пошто парня неделю взаперти держала? Мы все глаза проглядели: Никешка, Кирюшки-слесаря сын, да я. Все, все господа — злые. Старая чертовка барыня, помнишь,

Горька, я те рассказывал про барыню, у которой куриц-то режу, наподобие всем...

Горя беспомощно разводил руками и семенил ножками, мама покраснела, а Кенка злобно и прямо глядел на отца.

— Это чорт знает что такое! — гаркнул папа.—В-о-о-н! Пош-шел сейчас же в-о-он, мерзкий мальчишка!

Папа вскочил со стула, поймал Кенку за ухо, Гога с плачем вцепился в отцовскую руку, мама тянула Гогу к себе... Кенка рванулся, громко заревел и побежал в двери.

— Па-а-ша! — кричал папа,— гони его! Да посмотри — не стянул бы в прихожей вещей!

Гога рыдал.

Мать возмущенно сказала:

— Поль, это недопустимо! Какая несдержанность при Гоге!..

— Недопустимо? Недопустимо? — завизжал муж.— А допустимо такое общество для моего сына? Ты не видишь, он на побегушках у этого грязного чудовища?

Папа громко хлопнул дверью и удалился.

Гога пришел в ярость — он разметал ногами игрушки, растоптал поезд, разорвал на мелкие куски несколько книг, грубо отталкивал от себя испуганную мать.

— Люблю... люблю Кенку и буду любить! А вы злые, злые, богачи! Уйду от вас! Живите одни! Теперь Кенка будет дружить с Никешкой из-за вас! Отец у Кенки пьянчужка, а не бьет его, а папа бил! Пьянчужка лучше, лучше, лучше... Кенка не вор, не вор, не вор. Яблоки все мальчишки воруют, и я воровал, и я такой же воришка! Уйдите, уйдите от меня, злые люди!

Ночью, лежа в кровати, думал Гога о Кенке, просил у него заглазно прощения, сжимал свои маленькие кулачки и краснел от стыда.

В первый раз встретились осенью: Гога с ранцем шел в гимназию, Кенка с холщевой сумкой бежал в школу. Первый урок на бульваре и просидели.

Мама трепала Гогу по щечке и часто говорила:

— Гога — умница! Гога хорошо учится!

Гога нежно целовал маме ладонь.

А отцу говорила мама:

— Ах, дети, дети! Он уже забыл про этого уличного мальчишку. Какое у него нежное сердце! Как тогда рыдал мальчик! И все прошло.

Отец довольно усмехался.

— Дети уважают силу. Ты была недовольна моей резкостью. Кто же прав из нас? Надо было нарыв вскрыть сразу: я его вскрыл.

— Да. Я поняла. Гога даже имени его не произносит.

— Понимаешь, Кенка, — смеялся Горя у церковной сторожки, у Трифона-на-Корешках, — я этаким мелким бесом: — мамочка, мне хочется ко всенощной помолиться, звонят у Трифона. Она и отпустила. Я сюда — духом.

— Здорово! — хвалил Кенка. — Пойдем на гору. Я тебе припер лыко. Никешка стережет.

Ребята бежали по набережной к горе. Желтый фонарь качался им издали.

— Мне долго нельзя! — кричал Горя. — Только до конца всенощной,

— Время хватит! С акафистом, скажи, была всенощная — поп насилу кончил.

Добежали. Никешка тут. Шварк, шварк — один за другим понесли с горы, пошли падать в сугробы, кувыркаться, исходить криком, Кенка на карачках съехал, Горька с Никешкой в обнимку за ним, догнали девчонку, поставили на березку...

Падал лепешками снег. Те, что смотрели с берега на гору, как деревья, были запущены снегом. Колокола позванивали. Ребятишки со всего города бежали с санками: катились по ледяной горе гуськом, как обоз по зимней дороге. Повздорили с Зареченской слободой, сцепились артель на артель, кидались снегом и бились кулаками, пока с гиканьем и свистом не угнали на другую гору.

Всенощная шла долго — еще и еще хотелось шваркнуть на обындевевшем лыке от этого до того берега.

Прощались долго, ворочались друг к другу, уговаривались на завтра.

Гога веселый входил в столовую.

— Гогочка, — пел мамин голос, — почему ты не приглашаешь к себе школьных товарищей? Тебе, наверное, скучно одному?

— Нет, мамочка, мне не скучно.

— Странно! Тебе кто-нибудь нравится из мальчиков в гимназии?

— Мне все нравятся.

Мама в восторге прижимала голову Гоги к своей груди, а ночью долго рассказывала отцу о сыне, изумлялась сама, изумляла отца.

— Чего его, чорта, долго нет? — ругался Кенка, давно бегая по реке на одном старом коньке, подвязанном веревками к валенку. — Обещал прийти. Видно, не удалось очки втереть тятке с мамкой!

— Вотрет, — говорил Никешка, — он мастак на эти штуки! Давай около пролуби прокатимся у самого краишка, баб распугаем?

— Давай! Айда!

Они мчались со всего маха к проруби.

Бабы полоскали белье измерзшими красными руками, визжали на ребят, лешихались, замахивались коромыслами.

— Неугомон вас возьми, дьяволят! Мало вам реки, сатанам?

— Попадете в пролубь, окоченеете, черти!

— Отцу с матерью горя не оберешься!

— Безобразники!

Ребята кружили около баб, языки показывали и хотали.

— Хорошему, хорошему делу научились, неча сказать! — усовещевала маленькая старушонка. — Чего на вас только в школе смотрят!

— Вот я им пипильки-то оборву! — бежала за ребятами молодая баба и кидала льдинками.

Ребята наутек — бабы хохотали вслед и склонялись над прорубью, догоняя упущенное на ребят время.

Свистел и гудел молодой лед. Ребята мчались вдоль реки, вброд переходя заснеженные места, валенки были полны снега, ловили друг дружку, боролись, вставляли на носки, рисовали вензеля, звонко шлепались на бугорках...

Горька удрал с платного катка на реку, догнал друзей, и все трое бежали из города по льду, где шире и свободнее ледяные плесы Моши.

Убегались, упарились... Глотали лед. Сидели на снегу. Нараспашку одежонка, пока ветер холодными пальцами не щекотал тела. Кенка вытаскивал из рваной дубленой шубенки щепотку махорки и свертывал прямую. Попеременно курили, жадно глядя на огонь, чтобы кто больше не перетянул.

— Ты чаем заедай запах, Горька, — учил Кенка, — сухим чаем. Пожуй — и конец. Никакой доктор не узнает. Мне сторож на лесопилке говорил. Хозяйский сын на лесопилке до страсти отца боится — отец староввер, — убьет за табак. По-ихнему, табак — чортово кушанье. Вот табак у сторожа и держит. Украдчи при-

бежит, насопается, а потом рот чаем набивает. И сторожу хорошо: готовый табак и чай. Пробавляется!

Горька закашливался от махорки, Кенка передразнивал, а Никешка по спине колотил в помощь.

— Ну, барин, не бери в себя, раз ухватки недостаёт!— кричал Кенка.— Это тебе не папиросы. Чего у отца седня не стянул папирос? Товарищей не грех угостить. А то цыгару? Я за копейку покупал цыгару, братцы, всю втянул за один раз. Поди, с час курил. Весь день в башке, как на лошади с рельсами ездили. Во какой трезвон! Будто — за полтинник одна штука цыгары продают. Такую бы опробовать ничего себе. Носом только цыгару нельзя курить — болезни в носу заводятся, наросты нарастают с кулак. У одного немца — немцы цыгары обожают — второй нос вырос. Маяты было немчуре — не оберешься!

С реки ребята забирались к Кенке. Отогревались с мороза. Кенка вытаскивал из своего сундучка — в углу стоял — рваные черные карты.

И начиналась игра в свои козыри, в дураки, а то в ослы и акульку, чаще в акульку. Мамкин клетчатый платок повязывали с одной головы на другую. Раззадоривали тятку. Жульничали. Обыгрывали.

— Мне, ребята, платка не надо. Я так,— просил Кенсарин,— я не маленький. Што вы?

Как не отбивался Кенсарин — надевали. Марья за живот хваталась.

— Ой, ой,— кричала,— помру! Образина ты, образина!

— Го-го! — гоготали старшие ребята. — Не суйся на старости лет, куда не спрашивают!

А сами подсаживались — раздавали и им.

— Тятка — баба, баба! — визжал Кенка.

Кенсарин и смеялся и сердился.

— Ну, ну, — ворчал он, — будет ужо! Играть, так играть! Раздавай! Чего хайло открыл?

— Ой, — не унималась Марья, — связался чорт с младенцем!

Кенсарин косился на Марью и подсмеивал:

— Ишь, ребята, матери завидно стало. Садись! Мы те на голову корчагу вместо платка наденем!

— И одного дурака будет, — отвечала со смехом Марья, — во раздикался, чорт!

Наигрывались в карты, в ималки начинали играть. Завязывали глаза Кенке тем же клетчатым платком, прятались в тесной комнатухе за стол, за стулья, Кенка шарашился, хватал руками воздух, подсовывали мамку — ухватывал, платок с глаз срывал, а мать не играла — не считалось.

Шум, грохот, рев в комнатухе. Тятка Кенке ногу подставлял, тот об пол — бряк. Смех и слезы. Всем глаза поочередно завязывали.

Надоедало играть, садились ребятишки в угол, книгу открывали, сказку находили. Никешка не читал — представлял, в рот ему смотрели, слушали, не шелохнувшись, одна Марья мешала — все разговаривала.

— Отстань ты, егоза! — махал рукой Кенсарин, — дай послушать!

— Нашел занятие, — бормотала Марья, — ровно, маленькой. Добро бы што серьезное, а то сказки!..

Никешка одно колено за другим откалывал, другое словцо так говорил — все и видели, кто в сказке слово это сказал.

Брел Горя домой — улица веселая, в фонарях, снег под ногами шушукал, коньки на плече — звонк, звонк — сияньем отливали, рядом Никешка шагал — по пути ему.

А дома огромные комнаты, лестницы, переходы, глаза от света жмурились, будто душу видно, мебель ба-

бушкина, дедушкина, тетушкина пошевелиться мешала, в столовой шумели гости, — маленьким туда нельзя, — звенели стаканы, мама в зале играла на рояли, а папа пел на весь дом несвоим голосом.

Гога затыкал уши и думал: „Вот такой голос у буксирного парохода“.

Дома скучно. Скорее бы шла ночь, наставало утро, а утром Кенка бежал в школу, Гога ему — навстречу. Как хорошо!

Высыпали из громаднейшего пузатого домища — гимназии — в три часа гимназисты и по широкой площади текли во все стороны серым гуськом, толкались, махали ранцами, перебегали друг друга.

— Синяя говядина! Синяя говядина! — кричали мальчишки из школы.

Приготовишки бросались на них оравой, воинственно орали — и скоро две стенки сшибались в бою, а потом долго издали грозили враги кулаками друг дружке и перекидывались конским замерзшим калом, отыскивая его на дорогах.

Гога мчался домой — скорее, скорее избавиться от скучных, обязательных занятий — отсидеть время за обедом, приготовить уроки — и на улицу. А тогда, после всего обязательного, наставала настоящая жизнь. Как же тут не торопиться?

Был один такой день в неделю — четверг — самый ненавистный и враждебный день, когда Гога не спешил домой, шел с перевальцем, подолгу стоял на мосту, вырывал из тетради листы и пускал их по ветру, следя за полетом, сворачивал с прямой дороги в переулки, колесил по ним, чтобы больше побыть на улице. В четверг бывала ванна: Гогу не выпускали на прогулку.

А сколько таких же враждебных дней в году из-за погоды: то мороз-красный нос, то ветер срывал шапку и качал прохожих, то снежный буран наваливался на город мохнатой грудью.

Под большие праздники мама брала Гогу с собой ко всенощной. Гога мрачно стоял рядом, вертелся по сторонам, разговаривал, кривлялся. Да разве перечесть все потерянные дни? А в счастливые дни Гога надевал шубку и — на каток, за тетрадками, за карандашами, за книгами к товарищу...

Как много на свете слов, которыми можно уговорить маму!

Мама смотрела в окно, как тихо и степенно шел Гога, а глаза у Гоги — не видать маме — бежали, сердце тук-тук-тук, у поворота сбивались и ноги, шагали... завертывали — и шли вприпрыжку на условленное место.

С трех концов города сбегались ребята, издали кричали друг дружке.

В праздник раздолье — целый день вместе: утром — у обедни, днем — на катке, вечером у вечерни у Трифона-на-Корешках, а рядом гора, а поздним вечером папа и мама в театре или в гостях — уехали — друзья ждали на уголку.

Когда наставляли святки, нет и не будет счастливее двух морозных недель. После святок — ярмарка; тоже не худо.

Бежали словно облака на небе, зимы, лета, опять зимы, опять лета, святки, ледяные горы, звонил густой в соборе колокол с колоколятами малыми по всем концам Волока, на ярмарке вертелись карусели, из балагана выскакивал рыжий клоун, пищал Петрушка в карусельном оконце и дрался палкой — нет конца, нет краю веселым дням Гогиной жизни, знай себе бегай с Кенкой да Никешкой туда-сюда.

На святках ходили ряжеными. Горю нарядили в старый Марьин сарафан, Никешке вымазали морду сажей, Кенка выворотил шубу сзади наперед, привесил кудельную бороду и привязал нос из красной бумаги за уши. Стрекали каждый вечер по всему городу.

Перво-наперво напугали знакомого сторожа с лесного склада. Подкатились укладчи, да как забарабанили по будке палками. Сторож с перепугу заорал, чуть не убежал со склада.

— Ой, что вы, ребятишки, делаете, нелегкая вас возьми! — как опомнился, заговорил. — Тьфу! Кого так в дрожь бросит! Уморить этак человека можно. Выдумали тоже игру!

Ребятишки и сами перепугались.

— Мы, дяденька, любя, любя, это...

— Знаю, что любя, а только — ну вас к ляду с таким шуткам!

Со сторожа и начали дикаситься.

По городу разъезжали ряженные на дровнях, на саях, на парах и на тройках, бродили пешком по одиночке и артелями, то тут, то там в освещенных окошках мелькали маски.

Ребятишки приставали к взрослым ряженным и вместе с ними проникали в квартиры на вечера, на гостины, кричали и скакали, мешали танцевать, их выгоняли, грозили им, но ребятишки ухитрялись снова попадать. На одной вечеринке пьяная маска схватила Кенку за нос и сняла нагар. Кенка заплакал. Было больно и жалко красного разорванного носа. Сбегали домой, нос починили — и опять на гулянку.

Тятя Кенкин все святки пьянствовал. Попался им на улице — шел, как река течет — криулинами, они его

и давай... Кенка его сзади ташил, тятка — орать, в снег повалился, ногами брыкался, тут его ребята щекотать... Щекотали, щекотали, в чувство от вина привели.

— Да ведь это ты, Кенка? — узнал тятка, как отщекотали. — Ах, шут ты дери! И Горька? И Никешка? Ребятишки!

Кое-как тятку подняли, снег с него счищали, потом повели под руки домой. Тятка приплясывал и горлалил на всю улицу:

Пускай мogn-ила меня нака-ажет
За то, што я... е-е люблю...

И остановился... Обнимал ребят, целовал и бормотал плачущим голосом:

— Ребятенки вы мои милые, друзья закадышные, испил я маленько для праздника, испил! Простите вы меня, пьяницу. А вы не пейте! Скверное это занятие — пить водку! Очень даже нехорошее!

Шли дальше. Тятка дребезжащим голосом выл:

У цер-кви стояли каре-ты,
Там пышная свадь-ба была.
Все гости роскошно оде-ты...

и запинаясь...

— Дальше я, братцы, слов не знаю, как хотите, меня судите! Хотите верьте, хотите нет. Д-да! Кенка, ты не знаешь?

— Знаю, да не скажу.

— Отцу родному не скажешь? Ты после этого свинья будешь! Родного отца потешить не жалаш? Я тебя вот какеньким помню...

Тятка с трудом приседал и показывал рукой немного от земли.

— Я, конечно, пьян, я сам — свинья... От свиньи и ты свинья, Кенка!

Кенка обиженно говорил:

— Я мальчик, а не свинья.

— Нет, свинья. Ты, Кенка, не сердись! Я, братец, тебя люблю. Я так это, к слову. С пьяных глаз...

Ревела буря, дождь шумел...
Во мраке молния блистала,
И беспрерывно гром гремел —
И в дебрях буря бушевала.

снова ревел тятка и... обрывался.

— А ну вас, ребята, ко всем чертям. Што вы ко мне пристали? Чего вам надо от меня? Кто вы такие? Што у вас за рожи? К чорту, к чорту! Я один жалаю итти в кабак!

Тятка стал вырываться из рук, ребята из всех сил прилипли к нему, не мог оттрясти...

— Тятка, будет, пойдем домой! — взмолился Кенка. — Не ходи: замерзнешь на улице...

— А! — торжественно сказал тятка, — за-ме-е-рз-нешь? Пожалел, сукин сын, отца! То-то! Кенка, Кенушка — ты у меня, я вижу, парень хороший... отзывчивой. Это я люблю. За это спасибо. Мне кабак — што? Наплевать. Домой, так домой. Держи меня, ребята. Ух, и сколько же, братцы, я водки вылакал сегодня! Лопнуть, братцы, недолго. Брюхо у меня, братцы, надулось. Брюхо у меня, братцы, лопнуть хочет, а жилетка не пускает. Спать мне, спатеньки, друзья мои милые, очень, очень хочется.

Сдали тятку мамке — и опять за свое. Горя промерз в сарафане, бежал, заплетался в подоле, устал, но отстать не хотел. Никешка рычал толстым голосом, Кенка звонил в звонки по парадным.

У театра стояли выездные извозчики и кучера. Бороды в сосульках свисали, как с крыш. Рукавицами —

хлоп-хлоп — молотили извозчики и кучера. Лошади от холода ногами переминались. Фыркали. Глаза косили на ряженных. Собачонки заливались лаем, норовили схватить за ногу.

— И эта шпана дурака валяет! — говорил извозчик.

— Задницу драть некому.

— Пошли, пошли, щенята!

— Я вот их кнутом!

— И за коим дьяволом только это глумовство выдуманно в святые дни?

— Говорят, запрет скоро будет. Попы, слышь, жалобу подадут?

— Давно бы пора.

— Полгорода с ума сходит.

— Наша барыня — смерть не за горами — и та на себя дурацкую одежду надевала. Лет сто, поди, будет одеже. На дворе горничная час выколачивала. Пыли в ей было, как от стада на дороге! Барин жидом нарядился.

— И наши тоже.

— И наши.

— С жиру бесятся!

— Мерзни тут из-за дурацкого дела! Будто и всурьез какое представление!

— Пошли, пошли, дьяволята! Пошто третесь тут?

— Чего лаешься? — огрызался Кенка. — Тебе какое дело?

— Ах, ты, едондар шиш, ты еще заедаться?

Кучер выставял громадный валенок из-под полости, другие кучера орали:

— Лови!

— Лови!

— Забегай!

Ребята — в три голоса:

— Гужееды! Гужееды! Гужееды!

И — наутек. Извозчики, кучера негодуяще грозили кулаками, кричали вдогонку. Один нахлестывал лошадь, гнался за ребятами, они — в сторону, в снег, в первый попавшийся двор, на задворках вылезали — и дальше. Извозчик трусил напятную.

У клуба — опять извозчики. Медные трубы музыкантов качались в окнах, музыка доносилась на мороз. Подъезжали и подъезжали ряженные. Горя видел папина Султана в малиновых санях с кучером Нефедом. Горя испуганно шептал:

— Ребята, наши тут! Нефед сюда смотрит. Бежим! Перебегали от света в темноту.

— Славная у тебя лошадь, — говорил Кенка, — вот бы катнуть разик!

— Папа дал три тысячи.

— Султаном зовут?

— Да. Как стрела летит. Мама трусит ездить одна.

— Какие деньги: три тысячи! — удивлялся Никешка.

— У твоего отца денег куры не клюют, а у тебя ни шиша, — смеялся Кенка. — И отец твой — дрянь. Вором меня назвал. За уши драл, прощальга!

Горя ничего не отвечал: ему было стыдно и больно за отца. Он торопился увести Кенку от клуба, от Султана, от отца...

Бежали дальше по Царской улице, встречались с партией ряженных мальчиков и девочек, дразнили друг друга и гурьбой мчались на гору. Гора была убрана елками. Между елками на проволоке подвешены были разноцветные бумажные фонарики, покачивались, будто кланялись, разноцветно светили на полированный лед. На горе брали плату за обзаведение. Поскакали, поскакали около, с реки заходили: не могли пробраться. На горе больше взрослые — кавалеры и барышни. Все по-двое катались.

— Одни бабы и девки,— выругался Кенка,— к молодцам вприжимку. Пошли дальше! Завтра пораньше придем. Леший с ними, раз не пускают. Все фонари к чорту сымем! Разорим!

— Разорим!

Запустили градом ледяшек в горку и повернули в город. Намерзлись довольно: отогревались у Кенки. У Кенки во все игры переиграли, потом в зеркало с наперсток гляделись, воск лили — барашки белые выходили ребятам. Под Крещение наряжались последний раз.

— Гога, ты доволен святами? — спрашивала мама. — Ты много гулял, катался на коньках, на горе... погоди, немножко подрастешь, будешь маскироваться, танцевать, ездить на балы...

Гога весело улыбался, глядел в пол — и целовал мамину ручку.

IX

Над ярмарочным домом флаг.

Поочередно, за раз прокатиться, мальчики вертели карусели. Львы, тигры, лошадки, собаки несли на себе с боку и в обшарашку катальщиков. Гармонисты разгармонивали. На бутылках бутылочник играл под гармонью. Сарафан карусельный блестел блестками, золотом и серебром, всякими разноцветными цветками. Заповедное медное кольцо казало краешек из перекладаины — схватишь налету — бесплатное катанье. У ребят дума о кольце прежде всего — изловчиться бы! Напружились к кольцу с коней и львов, раз, другой, мимо, мимо — черные кольца поснимать надо — дорога к медному кольцу.

Как останавливалась карусель и хозяин шел собирать кольца, жалко было расставаться с медным кольцом,

хотелось всему народу показать на вытянутой руке. И показывали.

Кенка почти задарма катался: ловок, как щука, бросался стрелой к кольцу.

Вокруг карусели была другая карусель — человечья — отойти неохота девкам и бабам от карусельного удовольствия.

Сбитенщик зазывал отогреться почтенную публику. Самовар, как пароход, чадил столбом. Сбитень шипел, ходил ходуном взаперти за медной самоварной стенкой, пускал слюни. На балагане бегала белая рожа клоуна, стояком рыжий кошачий хвост на голове. Честной народ дурака хвалил, подготавливал шутками его, подбадривал бородами, бородками, шапками, оскаленной пастью. Петрушка попа деревянной колотушкой стучал по маковке на всю карусельную площадь. В цирке рыком стоял от зверья.

Лавки, лавчонки, ларцы, палатки отдавали халвой, ситцами, красками, вяземскими пряниками, рогожами, пенькой да веревкой.

Колокола у Оловянишникова мужики пробовали ногтем. Шестериком на дровнях везли большой колокол.

Ровно из облака выпало на ярмарку люда, лошадей, жеребят, собак — перемешалось, перепуталось, гудело, звенело, криком-кричало, галдело-галдежом.

Кувыркались на возах мужики с бабами; воздымались над пешим народом; разносчики несли шарфы на плече зеленые, красные; околоточный казал в серой шинели при шашке усы; верховой из цирка в полосатом армяке бренчал в бубен; вели верблюда о двух горбах; у барынь на головах выросли хвосты; гулял-качался по халвяной ореховой дороге ярмарочный люд.

Торговала ярмарка месяц.

У кабаков бочки порожние — костры. Сидели лавочники на морозе, будто никогда и с места не сходили, так тут и выросли, сначала голова лезла, потом из земли корпус назрел — и выдавило.

— Ситчики, ситчики! Мануфактура первый сорт!

— Прикажете, господин хороший?

— Иваново-Вознесенские! Морозовские товары-с!

— А вот мадеполан! Шали пярсидские! Рупь с гривной. Рупь с гривной.

— Распродажа, распродажа! Последний день распродажи!

— Пряники медовые! Орехи сахарные!

— Халва! Халва!

— Всемирная панорама! Пять копеек. Обзорение необозреваемых стран!

— Коники-лошадки — шалунам сладки. Побалуйте ребятишек!

— Подайте на погорелое место!

— Задавили!.. Задавили!..

— Гороδο-вой!

— Лукошки! Лукошки!

— Вишь, ребенок — прешься, дьявол!

— Дома сиди с ребятами, пузо!

— Пожалуйте, пожалуйста, почтенные покупатели!

— Остатки, остатки! Кому остатков надо?

— Посторонись, деревня!

— Три копейки, девичье счастье — тяни-вытягивай!

— Беспроигрышная лотерея!

— Полное собрание сочинений митрополита Макария.

— Севрюга копченая! Севрюга копченая!

— Тещин, тещин язык! Кому тещин язык?

Сидели ребятенки в школе до трех часов: в голове зыкала ярмарка. Учителя надсаживались, потухал задором жар, — уши были завешены у ребят наглухо.

Звонили к вечерням: Кенка на коне сидел, Горя — на тигре. Задачник новый Горин спустили за двугривенный: на карусели, на рожки, на пряники. Ныряли мимо тетенек и дяденек, друг от друга прятались на народе.

В ярмарочном доме тек, как вода из трубы, люд по лестницам. Загляделись ребята на игрушки, рты раскрыли, трогали руками, поглаживали.

— Купите, купите, барыни-сударыни, детям подарки — Ванька-встанька! Есть и Михайло Иванович. Куколки, куколки разные!

— Детские барабаны! Ружья-самопалы!

— Железные изделия! Железные изделия! Износу не будет!

— Пудра, пудра, пудра!

— Ридикюльчики дамские!

— Ножи, ножницы! Ножи, ножницы!

Кенка и Горя не могли отойти от стойки.

— Это почему?

— Это за сколько?

Игрушечник товар лицом показывал, нахваливал, нахвалиться не может, кучу наоткладывал ребятам игрушек. Ребята попусту рылись в карманах, мялись.

Игрушечник покрикивал:

— Айдайте, айдайте! Отчаливай! Мамку зови с кошельком! Кышь, кышь! Товар ломкой у нас! Не дотрагивайся, не дотрагивайся здря!

Нехотя отходили и смотрели издали.

— Сколько всего навезли,— говорил удивленно Кенка,— не раскупишь!

— Раскупят!

— Мы, что ли, с тобой? У нас в кармане вошь на аркане. Немного озолотишься!

— Мама мне уже порядочно купила. Мы тут вчера были. На Султана приезжали. Я тебе подарю, Кенка, лошадку.

— Подари́ш уехал в Париж от тебя! Чем бы говорить, другой давно бы принес — знаешь, у меня нету!

— Я забыл.

— Рассосуливай там! Жалко жидомору!

— Ничего не жалко. Поиграю немножко и принесу.

— Мне тогда и не надо — не возьму. Мне играной и не надо. Я не нищий. Ты новую давай. Не играную. Старая у меня не хуже твоей новой есть. К чертям такие подарки от вашего брата! Не нуждаюсь. Забирай все один.

— Музыкальные ящики! Музыкальные ящики!

— Роговые изделия! Роговые изделия!

— Не торгуйтесь, мадам, благодарить будете. Товар — что-нибудь особенное.

— Пятиалтынный, пятиалтынный игральные карты и прочие детские развлечения!

— Наперсточки! Иголочки! Ниточки!

— Вернитесь, мадам, не пожалейте полтинника, — дешевле не найдете нашего.

— Ишь старбень, — злобствовал Кенка, — губы отве-сила: выторговывает копейку. Денег, поди, девать некуда!

Горя заступался за старуху:

— Почему ты ругаешься? Может быть, у нее очень мало денег.

— У этой клячи-то мало денег? Да у нее — сундук денег. Смотри, какая на ней одежда? В каракулях ходит.

— Это ничего не значит. Может быть, она чье-нибудь поносить взяла?

Кенка хохотал.

— Да што ты дурак неотесанный? Кто тебе этакие каракули даст поносить? Вон тебе лошадки жалко, а и лошадка-то стоит грош, а ты каракулей захотел! Молчи уж! Ничего не понимаешь!

— Ты много понимаешь!

— Побольше тебя!

— Все хвастаешься только! Что тебе от старухи надо — не твои деньги?

— В морду ей надо. Сразу видать — сквалыга старуха. Отнять у нее деньги — и дралова. Ей на што деньги: не сегодня-завтра очокурится! Вишь, руки трясутся: раскошелилась, достает из мошны! Уговорил-таки чертовку торгош — обделает сейчас, беспрерменно гнилой товар всучит. Не торгуйся потом, ведьма!

— Кисея, кружево! Ленточки модные!

— Духи! Духи резеда! Духи заграничные!

— Мыло душистое!

— Плюш! Плюш! Плюш!

— Нечего на чужую кучу глаза пучить, — бубнил Кенка. — Пойдем, может, на галерку в цирку проберемся! Эх, Горька, денег у нас с тобой нету, а то накопили бы мы товаров воз!

— Где бы достать денег, Кенка? — спрашивал Горя.

— Где? Я на твоём месте в два счета достал бы. Знаешь, где у отца деньги лежат? И бери. Понемногу надо брать, чтобы не догадался. Чего его жалеть — не убудет. У него, поди, бумажник толще брюха. Все равно деньги-то не его — плутовством достает.

Горя краснел, задыхался...

— Папа... папа... по-твоему плут... берет чужие деньги?

Глаза у Гори горели, он боком пододвигался к Кенке, наступал...

— Ясно чужие! Тятка мой говорит — Горькин отец мужиков околпачивает. Ты што думаешь — все господа на мужиках едут да на рабочих! Чужие деньги нам и воровать не грех.

— Пьянчужка... пьянчужка твой отец! — кричал Горя, — и ты пьяницей будешь. Я воровать не стану у папы! Деньги его, его! Не такой у меня папа!

— А ну, дай ему в ухо! — подзадоривал большой иарень в полушубке из-за стойки. — Дербалызни его!

— Цепись, цепись, малец!

— Настоящий петух, настоящий петух!

— Как окрысился?

— Чево, чево тут? Нашли место хулиганить! Я вот вас метлой! — сердился сторож.

— За мной не ходи! — кричал угрожающе Кенка, — не то дам!..

Кенка шмыгал в двери, толкался на лестнице, как червяк пролезал между шуб, платков, поддевок, ротонд...

Выбрался на улицу — и дожидался.

Горя вышел расстроенный и грустно глядел по сторонам.

— Подходи, што ли? — кричал воинственно Кенка. — Не испугался заморыша!

Горя трусливо жался к стенке.

— Говорю плут — и буду говорить. Тебе што за дело? Я ведь не тебе говорю? Чево кочевряжешься? Сразу и в драку — при народе. Ухватки тоже, у чорта! А я разрезать могу с одного раза. Мы рабочие...

Горя молчал. Кенка бушевал.

— Богачи, тятка говорит, кровь нашу пьют стаканами. Им на земле, как в раю. Умирать неохота. На постельках поляживают: кишку растут. И твой отец не чище. Вот тебе и раз! Я, брат, все знаю. Думаешь, хожу с тобой, так мне интерес какой есь? Наплевал на тебя совсем! Тебя и зовут-то по-дурацки — на отличку от простого народа — Горькой, от редьки производишь!

— А ты нищий, нищий! У тебя и катаньки-то чужие! И ничего у тебя нет своего, — задыхался скороговоркой Горя, — твоего отца прогонят с работы — тебе и есть нечего будет. Что, взял? Думаешь, боюсь!

— Не бойся, да опасайся! — важно сказал Кенка. — Ишь чему обрадовался? К тебе не пойду просить. Ты што думаешь, мне завидно богачам? Плевал я на них с высокой лестницы! И на тебя плевал.

— А я на тебя!

— Ну плюнь! Ну плюнь! Попробуй!

— Сам попробуй!

— Вот попробую!

Кенка подумал немного и тише сказал:

— При народе нехорошо только — я бы тебе задал...

— Дорогу, дорогу конвою! — раздались голоса.

Народ хлынул к ярмарочному дому, притискивая мальчиков к стене.

По освободившейся дороге в частоколе обнаженных и запотевших от мороза шашек двигались арестованные: в шляпах, в кепках, в картузах. Шли и пересмеивались между собою. Ребятишки поднялись на цыпочки у стены, впиваясь любопытными взглядами в проходящих.

— Тетенька, вы не знаете, отчего они не в арестантской одежде? — спросил Горя какую-то даму.

— Голова! — пренебрежительно бросил Кенка. — Это политические! Они совсем не арестанты.

— С тобой не разговаривают! — огрызнулся Горя.

— А скажи-ка, мальчуганчик, почему это они не арестанты? Кто же они такие? — запела тонюсенским голоском тетенька.

— Сама ты мальчуганчик! — резко брякнул Кенка. — Они за рабочих стоят. Царю ножку подставляют. Вот они кто!

— Ах ты, грубое животное! — взвизгнула тетенька. — Постарше себя человеку так отвечать! От земли не видно, — он уж все знает. По-твоему, дрянь ты этакая, хорошо против царя итти?

На Кенку и тетеньку начали оглядываться.

— Ну, и гусь! — сказал некто в шубе.

— Вот они — современные дети! — поддакнуло пальто с котиковым воротником.

— Отправить его в участок, там ему расчесут кудри городовые! — прошипел благообразный старичок.

— Чево навалились на парня артелью? — усовещевал рабочий. — Долго ли ребенка зря запугать? Иди, малец, иди себе своей дорогой, за своим делом!

Рабочий вытащил Кенку из обступившего его люда и малость подтолкнул вперед. Кенка подмигнул Горе, и мальчики бросились догонять миновавшее ярмарочный дом шествие.

Оставшийся люд напустился на рабочего:

— Нашел ребенка: это не ребенок, а жеребенок!

— Крамольников защищает!

— Может, сам крамольник?

— Видать птицу!

— А вы кто такие? Чево шныряете по ярмарке и к слову придираетесь? Не нашли постарше — на ребят кинулись?

За рабочего вступился его товарищ.

— Чево спрашиваешь — кто такие? Союз русского народа. Видишь, на них богатства сколько навешено!

Люд сочувственно заусмехался.

— Ловко пришилил!

— Ай, да саданул!

— Без ножа ножиком!

— Безо всякого сумления из союзников!

— Забастовщики! Забастовщики! — затрещала тетенька.

Люд пугливо начал отодвигаться от ярмарочного дома.

— Во, тетка, неум!

— Остановись, остановись, баба, — засмеялся рабочий, — что у тебя подзадорником-то сидит, не знаешь?

Люд загоготал.

— Мушник!

— Форсунка старая!

Тетенька от злости, как рыба на сковородке жарится,— ш-ш-ш-ш-шипом изошла. Благообразный старичок плюнул, пошел и находу бросил:

— Су-щее без-зобразие!

А ему вдогонку закричал люд:

— Эй, старче, тетеньку-то возьми!

— Она те живот погрееет!

Рабочие весело стрекотнули на злую тетеньку глазами и сняли шапки.

— Прощай, тетка, жалко расставаться, да ребята дома пищат, хлеба просят, некогда!

Усмехаясь, рабочие пошли по дороге.

Тетенька успокоиться не могла, бабам деревенским на обиду жаловалась.

— Совсем, совсем, матушки мои, захулили, за то, что я за государя императора заступилась. Нынче до того дошло, что ни царя, ни бога не признают.

— Какие страсти!

— И чего это полиция только смотрит?

— Нашли на ково надеяться!

— Што полиция — продажные души!

Бабы двинулись с тетенькой по улице.

Кенка с Горей догнали политических, забежали вперед, пропустили и — опять забежали. Ярмарка глазела во все глаза.

Люд шептал:

— Политические!

И в этом шопоте было великое ненасытное любопытство.

Ребята провожали политических через всю ярмарку.

У цирка Кенка рассказывал потом Горе:

— Они ничего на свете не боятся — один чорт им! Под самого царя бомбы подкладывают. Рабочих и мужиков подбивают богачей резать. Твоему отцу кишки беспрерывно выпускают.

Горя недоверчиво смотрел на Кенку.

— К тятке товарищи ходят заводские. То ли еще будет — подожди! Увидишь!

— И маму по-твоему убьют?

— Баб не станут трогать: это щиповатая посуда! Еще ребят не тронут: бабы и ребята — безвинные.

Горя задумался.

В цирке играла музыка.

Слышно было на улице, как кричал в цирке звонкий, звонкий голос:

— Парад! Алле!

— Борцы выходят, — вздыхал Кенка, — начинается! Как бы это попасть?

Люд валил в цирк, торопился, давил друг на дружку, подхватывал ребятишек, вдавливал в свое нутро, нес к освещенной двери. Мальчики прикурнули пониже и проскользнули под руками контролера, проверяющего билеты, будто две кошки.

— Степан Пирогов — волжский богатырь! Непобедимый и неустрашимый! Чемпион России! — возглашал арбитр.

Степан Пирогов грузно вывалился из рядов борцов, стоящих на арене сломанной подковой, наклонил маленькую, как головка сыру, голову и сделал ножкой, откидывая тяжелый зад.

— Ванька-Каин — грузчик! Чемпион Сибири! Железный гриф! Рост 2 аршина 13 вершков!

— О! о! о! — неслось по цирку.

— Это да! — шептал Кенка. — Оглобля!

Ванька-Каин стыдливо кланялся, не трогаясь с места.

— Бесов—профессор атлетики! Невиданный силач. Останавливает скачущую тройку на полном скаку! Одно ребро сломано при состязании на международном чемпионате недобросовестным противником, применившим запрещенный прием!

— Бесов! Бесов! — ревел цирк и хлопал. Бесов кланялся в пояс.

— Этот дас — не обрадуешься! — шептал Кенка. — Нащет тройки-то, поди, врут?..

— Черная маска — неизвестно откуда прибывшая для участия в чемпионате города Волока!

Черная маска прикладывала широкую ладонь к сердцу. Борцы внимательно ее рассматривали.

— Будто не знаешь, откуда приехала? — раздался бас из глубины галерки. — Надуватели!

Цирк смеялся и шикал.

Арбитр невозмутимо провозглашал:

— Парад! Алле!

Музыка играла марш. Борцы, напряжив мускулы, выдувая груди вперед, уходили гуськом с арены.

Началась борьба. Мальчики, не отрывая глаз от борцов, следили за каждой схваткой. Черная маска с места кидалась на свою жертву, бурно через голову швыряла противника и стремительно клала на обе лопатки.

— Не дожал! не дожал! — выл цирк.

— Браво, браво!

И другой и третий борцы трепетали под Черной маской.

Победителю кидали из лож расфранченные дамы цветы, с галерки запустили красным яблоком.

— Сколько заплатили за полежалое? — загудел тот же бас.

— Вывести его! Вывести его! — возмущался цирк.

На арену вышел директор цирка — укротитель зверей пустыни,—щелкнул хлыстом по лакированным сапогам бутылками и держал речь:

— Ежели которые находятся, почтенная публика, нащет сумления в Черной маске, Маска, чили значит, вызывает бороться с ей сейчас любовь, чили, из цирка. И кладет, чили, сто рублей для своего ручательства. Дирекция, чили, от себя победителю представляет почетной диплом.

— А-а-а! — шипел цирк.

— Выходи, дядя, чево голову под воротник прячешь?

— Тука слаба?

— Остановку делаешь пошто, трясун?

— Не жалей костей — он те дно выставит из маврухи! Директор цвел на арене.

— Госпожа публика! — говорил он. — Дирекция, чили, нащет промедления представления не при чем — и за всякой народ, чили, которые для не борьбы ходят в цирку, а для всякого пустого, чили, хулиганства, ручательства, чили, не дает.

— Пра-а-а-вильно-о! — кричал цирк. — Правильно! Начина-й!

— Маску! Маску!

Черная маска скромно вышла на арену навстречу оглушительному хлопанью и крикам.

Мальчики были влюблены в Черную маску: они пронзительно орали:

— Bravo! Bravo! Бис! Бис!

В утихшем цирке боролся Ванька-Каин с Пироговым. Публика замерла. Слышно было, как фыркали лошади в конюшне. Осел иногда резко кричал свою ослиную жалобу. Над борцами стоял столбом пар. Шлеп-шлеп-шлеп раздавалось на арене. Борцы пыхтели.

катались по ковру, мялись друг на друге, гнули шеи, выламывали руки...

Полчаса ковыляли томительно... Борцы свирепели, дрались, у одного треснуло трико, арбитр предупреждающе звонил в колокольчик...

— Неправильно! Неправильно!

— Галстук!

— Гриф!

Цирк возмущался, боролся сам.

Время истекало: ничья. Усталые борцы, шатаясь, уходили с арены под рукоплескания сторонников и врагов.

Люд валил на мороз. Ярмарка полыхала огнями каруселей, лавчонок; у балаганов дымили плошки; на американских качелях выпускали бенгальские огни; с неба повисли подкрашенные тяжелые облака.

Тут же у цирка мальчики боролись. Кенка делал мост, ноги у него дрожали, ходили ходуном, Горя наваливался на него и долго не хотел выпускать с „обеих лопаток“.

— Сознавайся!

— Ты обманом взял! Я тебя три раза положил!

Начинали снова. Кенка садился на Горю, запорашивал его снегом, совал снег за пазуху, Горя царапался, кусался...

— Да! Ты запрещенным приемом победил! Это не в зачет!

— Силы у тебя нет. У кого хочешь спроси. Я по правильному.

— Сам спрашивай! Не знаю я? За горло раз берешь...

— А Черная маска не так, не так положила?

— Так, да не так!

— С тобой разве сговоришься?

— И с тобой тоже!

Ребятенки враждебно расходились по домам до завтра.

Мальчики продавали карандаши, книги, Кенка забрал у барыни вперед за незарезанных куриц, Горя занимал у Паши, у Нефеда, забыл папа рубль на столе — и этот рубль пошел в оборот, — мама каждый день давала деньги, а все было мало, все нехватало.

Каждый день мальчики стыли у цирка, топтались на морозе, терли носы. Когда они не могли заплатить билетеру за пропуск, они заглядывали ему в глаза, упрашивали пропустить в долг, бегали ему за папиросами на ярмарку, отталкивали других лезущих в цирк задарма мальчишек, услужливо подымали уроненные билетером билеты... только бы не пропустить борьбы. Иногда билетер их пускал... А то, исчерпав все надежды попасть в цирк, они осторожно лезли на крышу, прилипали глазами к узенькой щелке и смотрели на своих героев. Забывались — ворочались на крыше, гремели — конюха выскакивали из конюшен, снимали их и давали затрещины. Ничего!

Был Гога с папой и мамой в цирке: сидел в ложе. В антракт выклянчил у мамы денег на пирожное, выскочил к поджидавшему у подъезда Кенке, сунул ему деньги — и обратно. Отыскал потом глазами Кенку на галерке в условленном месте — переглядывались, перемигивались.

Как на Султане после цирка поехал домой — обогнал Кенку и чуть не крикнул, оглянувшись на него. Тот футынуты изобразил, начал загребать перед брюхом руками — папин большой живот представлял. Засмеялся Гога.

— Что тебе весело, Гога? — спросила мама.

— На Ваньку-Каина, — слукавил Гога, — у него лицо, как лошажья голова.

— Лошадиная надо говорить, Гога, а не лошажья.

— Отвратительные окорока! — произнес папа.

— Нет, почему же? Некоторые хорошо сложены! — не согласилась мама.

— Некоторые дамы без ума от этих потных туш, я знаю! — рассердился папа.

Мама замолчала. Гога враждебно отодвинулся от отца. Тот бурчал:

— Мне было стыдно, когда этот идиотский марш... и это мясо выходило из конюшни на свой дурацкий парад алле. Я запрещаю показывать Гоге эту мерзость!

У Гоги екнуло внутри.

Султан мчался, санки легко летели за его хвостом, снег бил в лицо. Гога скрывался за Нефедовым большим задом с круглыми часами в футляре. Стекло часов запотело. Гога коснулся стекла пальцами, отодвинулся, охватил взглядом всего Нефеда и подумал: „Как башня с часами“.

Папа ругал борцов, цирк, ярмарку, погоду, Султана, раскидывавшего копытами снег.

Гога ночью бредил:

— Парад алле! Черная маска!

И жалобно просил:

— Пропусти, дяденька!

Днем, после уроков, мальчики слонялись около каруселей, балагана, лазили на мачту с подвешенными наверху призовыми часами, забредали в ярмарочный дом, но с первыми огнями они уже торчали у цирка.

Ярмарка близилась к концу.

Черную маску и Пирогов, и Ванька-Каин, и Бесов поочередно клали. Ванька-Каин шутя смял ее — и руки растянул по ковру, как на кресте.

Мальчики едва не захныкали, когда Ванька-Каин сорвал с Черной маски маску и оскалился.

Цирк повскакал от неожиданности с мест.

— Ешь его, ешь его, Ваня! — сказал бас с галерки.

Ванька-Каин разошелся, потрясал маской, уничтожить хотел обидчика — баса. Длинное его лицо вытянулось на пол-аршина, он бросил колокольчик с судейского стола на ковер — насилиу увели с арены.

Цирк вызывал Черную маску.

Маска без маски — пестрый веснушчатый парень — руками разводила с удивлением на свое поражение и даже плакала, просила реванш.

Потом и так и в реванш клали Маску.

— Жулики и есь! — сердился Кенка. — А мы, дураки, взаправду приняли! Твоя Маска у них конюхом служит: Степка, говорят.

— И твоя она была!

— Когда? Я с самого начала догадался!

— Как нехорошо, Кенка, врать! — возмущался Горя. — Догадался? Чего тогда нос два раза поморозил? Еще говорил — я за Маску хоть бы весь замерз. Нечего уж отпираться. И все попались. Один бас догадался.

— Да, все! И бас-то, поди, ихний — для завлечения публики!

Пришел и такой день — увидали они крылья у карусели голые: лежали в груди на снегу лошадки и львы; на балагане висел замок; разбирали лавочники палатки; по разбитым дорогам тянулись возы с недопроданной кладью, а на ярмарочном доме сторож убирал флаг.

На ярмарочной площади скоро остались одни извозчики — жгли костер, — да прохаживался городской с красным шнуром на шее.

Х

Испокон века на масленой, в субботу, в городе бывало катанье. По широкой Царской улице версты на

две двигались тысячи лошадей. От колокольцов, бубенцов и ширкунцов в ушах стоял густой и липкий звон. Лошади помахивали разукрашенными гривами, хвостами и поблескивали серебряными сбруями. Новые дуги разных цветов колыхались из стороны в сторону: то словно по телеграфным столбам вытягивались во всю Царскую улицу — и замирали в неподвижности, то трогались опять в путь, кланялись друг дружке. На лошадей сдоки тпрукали, подергивали вожжами всех мастей. Девки, молодайки казали саки, ротонды, дипломаты бархатные, плюшевые, на лисьем меху. Так, в роде огромного царского кренделя, и катались с полуден до ночи по Царской улице.

А другой крендель в обхват принял. С панели люд смотрел — выбирал невест, наводил критику, пускал словцо прилипчивое, как хворь, на ветер.

Кенка с Горей не один раз по кренделю обогнули, подкатали их Кенкины деревенские сродственники, высадили у выезда из города. Постаивали тут ребята, поглядывали, как подъезжали и подъезжали по серебряным полям из деревень новые парочки.

Засмотрелись на жеребца с норовом — из оглобель выскочил, весь круг смял, невесту в дипломате вывалил в сугроб — Горя отскочить от Кенки забыл — папа с мамой на Султане наехали нежданно-негаданно. Как на зло, обнявшись стояли ребятенки.

Мама глазами прыг, папа Нефеду в спину перчаткой — приказывал остановиться, звал Горю в сани. Нефед с облучка смотрел жалостливо. Кенка надумал, было, бежать, а как увидел злые глаза своего обидчика, озлел пуще того, нахально смотрел и усмехался во весь рот.

Папа отвертывался, вздрагивал, закутывался полстью. Горя сел с опущенной головой.

— Аресто-ван-ный! Аресто-ван-ный! — заорал Кенка. — Заграба-а-стали!

И плюнул раз и другой по пути.

Он видел, как белый Султан мчался в поле, работая ногами, словно на молотье цепи били. Отец размахивал руками. Мать прикурнула носом в тальмочку. Нефед оглядывался. Кенка сучил кúлаки, еще раз злобно плюнул на дорогу, глаза не глядели на катанье, нахлобучил на глаза рваную заячью шапку и тихонько брел домой.

Одному хорошо дома — все ушли на катанье — поплакать от злости. Печально лились звоном колокола к вечерне у Богородицы-на Нижнем Долу; соборный колокол гудел густо за двойными зимними рамами; в комнате темней и темней. Кенка сидел на отцовской кровати, слышал душный запах ржавчины и замазки от подушки, от одеяла, за обоями шевелились тараканы, пробегали по рукам, из глаз лились обидные слезы. Вспоминал Кенка светлые комнаты Гори, игрушки, Султана, Нефеда с часами, большую медвежью полсть. Кенка злобно думал, как хорошо бы прибежать в комнату друга, распинать, растоптать и железную дорогу, и лошадок, и ящик с музыкой, подпалить со всех четырех углов дом, вывести Султана из конюшни, вскочить на него, свистнуть — и был таков.

Кенка чувствовал, что и Султан и дом мешают ему дружить с Горькой по-настоящему, по-хорошему, не украдкой, а как с Никешкой, в открытую.

Кенка вызывал перед глазами друга и видел, что и он другой, чем Никешка.

Пришли отец с матерью, старшие братья, мать вздула огонь.

— Домовничаешь, Кенка? Ключ-то сразу нашел? — спросила мать. — Сторож хороший! Всех собак што ль перегонял засветло?

Кенка молчал.

— Был на катанье-то? — спрашивал отец.

— Был.

— Невесту себе не выбрал?

— Выбрал.

— Этакой парень разве прозеваает! — смеялся отец.

— Не тревожь его, тятка, — сказал старший сын, — вишь, в горях парень — жениться хочет.

Кенка начал плакать.

— Ну, вот, расквилили мальчика, — недовольно протянула мамка.

— А сама... а сама... — захлебываясь слезами, булькал Кенка, — не первая начала... не смеялась?

Мать подошла к Кенке, села с ним рядом, обняла его за голову, а он ее отталкивал, сопротивлялся ласке.

— Не плачь, дурачок, я ведь нарошно сказала. И тятка шутит. И братик шутит. Какой ты еще жених — из краюхи!

— Я не о том плачу.

— О чем же тогда, Кенушка?

— От жизни плачу...

Мать и тятка и братья залились смехом.

А Кенка уливался...

— Все злые дьяволы!.. сволочи!..

Кенка прижался к матери в коленки и выл.

— Тебя кто, Кенка, обидел? — серьезно спросил отец.

— Все обидели.

— Не друг ли закадышный?

— К чорту его барское отродье! Ему меня обидеть, гнилому!

— Видно, што вышло у вас?

— Чего выходить? Гуляли мы — отец его застал нас. На лошади ехал — увез.

— Эка штука, подумаешь, случилась! Плюнь ты на это дело! Я те говорил — не пара барчук тебе. Отец у него первый прохвост в уезде. Барин из баринов. Евон-

ный сын да с каким-то водопроводчиковым сыном в дружбе? Мыслимое ли дело? Пойми, Кенка! Сам связался!

— Не я к нему лезу, он ко мне льнет, как банный лист,— плакал Кенка.

— Уладится, Кенка, помирится,—ласково гладила по вихрастой голове мать.—Ты с Никешкой больше дружись. Господа нам не ко двору. Ну их! У них своя жизнь, у нас — своя.

Отец вдруг рассердился на Кенку и закричал:

— Молчок! Будет нюни распускать! Рано тебе еще плакать — потом наплачешься! Пошел в сени, ежели рот не закроешь! Не вяжись, с кем не следоват, стервец! А то вот шарاخну ремнем!..

Отец расстроился.

— Отдохнуть не дадут для праздника!

— Не расходишь, не расходишь,—вставила слово мать,—напугать нас можешь!

— Потаковщица ты, вот што!

— Без вина скушно стало,—язвила жена,—от того и яришься? Виданное ли дело,—на масленице да и не пьяной? Дите родное для ремня сделал?

— Ладно! Отвязывайся!

Старший сын тихо смеялся.

— Смотри,—не унималась жена,—и Степка над тобой зубы скалит.

Отец невесело взглянул на Степку.

Кенка утих на коленях у матери.

Родное тепло разлилось ему по лицу от коленок, охватил он их, крадучи целовал теплое мамкино платье.

Мамка освобождалась нежно от него, встала и опять подзадоривала мужа.

— Так-то, Кенсарин Петрович, скучать изволишь?

Отец в сердцах закричал:

— Фефёла, будешь накрывать на стол-то... заместо бабьего разговору?

— Успеешь! Брюхо не убежит!

Отец подошел к кровати.

— Кышь ты! Освобождай помещенье! Дай отцу с устатку спину потешить!

Тятка завалился на кровать. Кенка пересел в ноги, приваливался к стенке и задумчиво слушал, как мать возилась на кухне с самоваром, наливала воду, ломала лучину, надевала с жестяным треском самоварную трубу на спину самовару и как скоро запевал самовар свою жадную самоварную песню. Степка помогал.

— Тяга сегодня здоровая,— говорила мать,— во как разошелся! Не хуже отца в пьяном виде!

— Будет, мать,— ласково предупреждал Степка,— не трошь старика!

В это время в Дюдиковой пустыне бушевала буря, гремел гром, молнии сверкали из папина кабинета и летали по затопленным электрическим половодьем комнатам.

Гога прижимался к холодному оконному стеклу щечкой и со скрипом водил пальцем взад и вперед. Потом закутывался в оконную штору и обрывал бахрому, кисточку за кисточкой.

XI

Текли унылые однообразные дни в жизни Гоги. Одними и теми же улицами скакал Султан каждое утро с маленьким седоком в гимназию; к трем часам дня Гога видел в гимназическое окошко, как выезжал Нефед из-за церкви Зосима и Савватия в легких санках за ним. Садился Гога в тюремные санки — и его везли мимо надоевших, ненавистных домов, колоколен, полицейских будок.

Мама не расставалась с ним, водила его на прогулку, в церковь, в театр или каталась по городу на Султане.

Гоге тошно, скучно. Папа отгремел, шутил с ним, называл его карапузом. Гога чуждался его, насильно улыбался и отвечал, глядя в сторону.

„Милый Кенка, — писал Гога письмо, — я в плену, а люблю тебя. Меня никуда не пускают. Не забывай Горьку, твоего друга. С Никешкой не дружись, так как люблю я тебя. Твой несчастный узник Горька“.

Кенка хранил письмо на дне сундучка и часто его читал мамке.

— Он, видишь, меня любит, — рассуждал Кенка, — а родители — злые разлучники. Все отец, чорт. Смерти ему не приходит. Мать-то ничего. Как все женщины: она для сына на все пойдет.

Мамка смеялась.

— На все, говоришь?

— Знамо дело!

Весеннее солнце ворошило городской снег золотыми лопатами, разгребало до земли.

Против гимназии на пустынной площади вылезал из-под снега бугорок клумбы. Гога шурился из гимназического окна на него и скучал под скучные латинские слова учителя по прозвищу „Alienus“.

Пересекал раз площадь какой-то человек с трубой на плече, все ближе и ближе. Гога узнал Кенсарина, улыбнулся, готов был закричать ему через рамы, а за Кенсариным показался ленивый и толстый Нефед на Султане, обогнул площадь и остановился у парадного.

Урок тянулся медленно, словно время нарочно останавлилось, и все маятники перестали качаться. Но нет, — вот сторож позвонил у дверей. Учитель сложил тетради, книги, слез с кафедры, выкинул усами последние ла-

тинские слова. Гога заторопился. Он выбежал к Нефеду. Нефед открыл полсть.

— Нефед! — говорил мальчик.

— Что прикажете, барин?

— Тебе мама ничего не говорила?

— Про што?

— Она забыла. Нам надо заехать в одно место.

— Так что же, заедем! Пожалуйте садиться!

Гога суетливо юркнул в санки.

— Куда?

— На Дегтярку.

Нефед вдруг оборотился и пристально посмотрел на мальчика. Гога побледнел.

— К кому там?

Мальчик привскочил, поправил на спине ранец, заволновался.

— Так к... одному человеку.

— Я боюсь, барин! Чего бы не вышло? Мне велено вас не слушать, а прямо домой отвозить.

Мальчик покраснел и пробормотал:

— Мама... мама же велела... Она рассердится.

Нефед в нерешительности тронул Султана, еще раз оборотился, быстро оглядел площадь, как будто усмехнулся и пустил Султана.

— Поше-е-л!

Султан неся, Гогино сердце выколачивало быстрые удары под курточкой.

Стрельнули мимо Богородицы-на Нижнем Долу, качнулись в глубоком ухабе — Султан донес до знакомого домика.

— Стой! — закричал Гога, — я сейчас!

Гога за ворота юрк — и остолбенел: там Кенка на дворе бабу из снега делал, втыкал угли вместо глаз, Никешка уминал снег большими катаньками вокруг.

— Горька, Горька! Ты как?

— Я... я на минуточку! Я на Султана! Я, понимаешь, обманом!..

Никеша выбежал к воротам, открыл калитку, глядел на Султана, Кенка с Горей уже вбежали в квартиру.

— Мамка!— орал Кенка:— Горька приехал! Обманом... Посмотри, какая у него лошадь!

Мать оторвалась от работы, радовалась радости Кенки и ласково улыбалась.

Мальчики смотрели друг на друга и ничего не говорили, потом смеялись, держали друг друга за руки.

— Давно не бывали,— говорила мамка,— Кенка соскучился.

— Ты письмо мое получил?— волновался Горя.

— Вот оно!

Кенка бросился к сундучку и бережно достал письмо.

— Я тебе и еще напишу!

Вбежал Никеша с улицы.

— Горька! Тебя кучер зовет!

— Мне пора... пора,— лепетал Горя.— Прощайте, проводите меня, ребята!

Голос у него дрожал, глаза были светлы и влажны, он быстро мазал рукой по глазам.

— Что-то попало!

— Не иначе пыль,— говорила с усмешкой мамка.— Я тут, старая дура, напылила — половики прибирала...

— Да-а?— тянул Кенка с торжеством.

Горя помчался в двери— ребята за ним— на снежную бабу взглянул— и за ворота.

Неловко забрался в сани, в ранце карандаши, ручки стучали, Кенка с Никешкой щупали полсть руками.

— Обманщики! Обманщики!— укоризненно говорил Нефед.

И вдруг весело закричал ребятам:

— А ну, садись, ребята, покатаю! Век вам не езжать на господских лошадях! Один ответ!

Ребята грудой. Нефед сиганул вдоль берега. Султан неся, санки пели, свистели, снег крутил винтом, снежное облако сыпалось фонтаном на маленьких седоков.

Горя шептал в уши ребятам:

— Милый, милый Нефед!

Обратно на Дегтярку гнал Нефед Султана. На углу остановил — и мрачно скомандовал ребятам:

— Ну, марш! Влопался теперь с вами!

Султан неся домой.

— Приезжай еще! — кричал Кенка.

— Не зна-а-ю!

Скрылись из глаз. Гога схватился за кушак Нефеда, тот приостановил лошадь и недовольно бурчал:

— Чего вам еще?

Гога обнял его зад и восторженно плакал.

— Как я люблю тебя, Нефед! Ты не говори маме! Никто не узнает! Какой ты добрый и славный!

— Ладно уж, садитесь, садитесь! Сами помалкивайте — наказание с вами! Большая просрочка во времени вышла.

— Что не случилось ли? — тревожно спрашивала мама. — Ты запоздал.

Мальчик весело и бойко отвечал:

— Латинист задержал: спряжение проходили.

Кенка с Никешкой не доделали бабы сегодня.

— Ну, и катнули, мамка, — сиял Кенка. — Нефед посадил. Хороший мужик. А лошадь, как и не знаю што. Пуля, а не лошадь, Султаном прозывается.

Рассказывая и пересказывая мамке, как они катнули, Кенка нетерпеливо ждал тятку, братьев, чтобы рассказать им о своем счастье.

— Горька шельма: он теперь повадится! Он приедет!

— Конечно, приедет! — поддакивала мамка.

Каждый день теперь Гога выходил из гимназии с трепетом и вопросительно глядел на Нефедя. Тот откидывал равнодушно полсть.

— Нефед? Не поедет туда?

— Садитесь, садитесь! — сердился Нефед. — Одна побаловались — и будет. Не приказано!

— Мы не скажем!

— Пожалуйста садиться!

Снова тюремные санки везли его только домой.

Шла весна. Нефед выезжал за Гогой уже в коляске. Гога неустанно просил:

— Нефед!

— Дудки! Дудки!

Кенка напрасно ожидал.

В городе иногда Кенка видел, как белый Султан стоял у магазинов, у клуба, ожидая Горьких родителей, он тогда гордо похвалялся ребятишкам:

— Это Султан. Я на нем ездил. Знатная лошадь! А кучер Нефед.

XII

Шли года безостановочным ровным шагом все вперед и вперед. Кенка кончил школу — и гулянка его кончилась.

Как завывала в окна с петухами сирена на чугунолитейном заводе Парикова, вставал он с постели, хлеба кусок за пазуху — и торопился по родной Дегтярке на завод. А приходил поздно вечером — не до того. Уставал. Разве когда на неделе посидит за воротами до ужина, упрется глазами в Богородицу-на Нижнем Долу, на стрижей летающих — и на боковую. Под праздники осталась гулянка да по воскресеньям.

Кенка был большой парень, возмужал за работой — в ученье еще, но недалеко то время, когда будет помощником отцу: на то и готовили. Старшие братья жили уже раздельно, переженились. Отец — работник стал с большим изъязом: пропил здоровье и на водопроводных трубах оставил, часто хворал. Кенка кормильцем будет.

На Гогу заглядывались пожилые дамы, писали ему письма без подписи гимназистки и епархиалки. Когда он ехал на Султане по городу в новеньком гимназическом пальто, в серых перчатках, выставя маленькую ногу в ботинке, встречные папины знакомые дурили:

„Какой стройный юноша!“

Гога был в старших классах; у него своя библиотека; без стука к нему не входили ни папа, ни мама; Гога имел свои карманные деньги. По воскресеньям, по старой памяти, Гога иногда заходил к Кенке. Чаше всего он стучал в окно, вызывая Кенку и не входя в квартиру.

Марья высовывалась в окно и говорила:

— Что не заходите-то, Игорюшка, не погнушайтесь! Гога смеялся.

— В комнатах душно. Лучше мы погуляем с Акиндином.

— Как знаете! Кенка, ты скоро, што ли? Игорюшка дожидается. Сапоги-то опять стянуло? Не можешь напялить?

— Сейчас! Сейчас!

— Нога, видно, растет у тебя? Давно ли сапоги делали — опять малы?

Акиндин выходил полурадостно, полусмущенно.

— Помаленьку гуляйте-то! — наставительно говорила Марья.

— Ладно, уж будет! — сердился сын.

Гога угощал Акиндина папиросами, брал его под руку. Шли за город в загородный сад. Гога платил за вход. Акиндин неловко лез за кошельком. Гога его останавливал:

— Нет, Акиндин, я тебя позвал, я и должен платить.

В саду играла музыка, на деревьях, где бы петь и прыгать птицам, лазить белочкам, навешены были бумажные голубые, зеленые, розовые фонарики, ветер раскачивал их из стороны в сторону. По аллеям плескался шумливый людской поток, такой же разноцветный, как гирлянды бумажных фонариков.

Гоге кричали со всех сторон гимназисты и гимназистки, он часто „на минуточку“ отставал, Акиндин дожидался его на скамейках, рассматривал свои большие сапоги, грубые, обожженные работой руки, злился на себя, краснел и шептал о друге:

— Барин!

Он резко надумывал уходить. Гога слабо и нехотя его удерживал, словно боялся, что он останется дольше.

Акиндин крупно шагал на Дегтярку и насупленными глазами глядел себе под ноги.

— Нагулялись? — спрашивала Марья.

— Нагулялись! — горько отвечал сын и потом злобно кричал: — Придет ежели опять, скажи, что дома нету! Ну его к чорту! Извивается, как червяк, тьфу!

— Што ты, Кенка, он такой благородной!

— Плевать мне на его благородство! Противный он! Не пара нашему брату. Обра-зованный!

— Што я говорил? — скрипел Кенсарин. — Яблочко от яблони недалеко падает. Не нашего покроя они. Для разглушки они с нашим братом знакомятся. Мы от них, как редька от Ладожского озера. Раскусить их надо только.

Гога весело хохотал у пруда с товарищами. Кидали в косы гимназисткам репейником, толкались, подставляли друг другу ножку, анекдоты рассказывали и гоготали.

— С каким ты это михрюткой гулял?— острил одноклассник.

— Он со своим кучером любит гулять,— отвечал за него другой гимназист.— Кучер, что ли?

Гога смеялся.

— Так... тут один рабочий знакомый. Вместе с детства... Хороший парень: умный, только мало сознательный!

— Просвещаешь, значит?

— Да... немножко!

Гоге было стыдно, он краснел и в страхе оглядывался — не вернулся ли Кенка.

Раздавались выстрелы. За прудом с шипением и свистом взрывались огненные звезды, уносились в небо, переплетались, сталкивались и, угасая, падали на землю. Огненным ливнем вертелось колесо на пруде. Зеленое лоскутное одеяло пруда дрожало, колыхались кувшинки, багровели вокруг деревья. Музыка рывкала марш. Сотни цветных птиц летали в небе.

Веселым и довольным табунком шли гимназисты в город.

Гога ворочался ночью на кровати, вспоминал Кенку маленьким своим другом. Вот вместе удили они рыбу, воровали яблоки, им мешали любить друг друга. Потом Гога в полусне видел, как в двери входил большой Акидин и неловко снимал картуз. Гоге было скучно с ним, он закрывал глаза и смеялся за опущенными веками.

Снова сходились они. Хорошо смеяться над веселым прошлым. Настоящего не было.

И все реже и реже встречи. Гога пойдет на Дегтярку— и поворотит обратно. Постаревший Нефед вез его знакомой улицей. Гога вспоминал свое детство, но лошадь уже другая, никогда не стоявшая у Кенкина домишка.

Никешка пьяный остановил Гогу на улице, грубо схватил за руку и, дыша ему водкой в лицо, угрожающе кричал:

— Ты старых товарищей не признаешь? Зазна-ался? Благо-род-ная кровь, едят тя мухи с комарами!

Гога в гневе оттолкнул его и закричал:

— Как вы смеете? Я вас не знаю!

Никешка налезал:

— Меня... меня ты не знаешь?

Гога быстро шел... Никешка не успевал за ним, отставал, останавливался нетвердо и грозил кулаком.

— Сви-и-с-т-у-н!

У Гоги дрожали ноздри, он трудно дышал, морщился от отвращения.

Никешка горланил на бульваре сзади:

Ванька клюшник, злой разлушник
Разлучил князя с женой...

Раздавались свистки полицейских, крики.

Мимо Гоги провезли в участок Никешку. На нем сидел городской и бил его. Никешка кричал во все горло:

— Ка-ра-ул-л! Караул-л!

Гога отвернулся с злой усмешкой.

Никешка с Акиндином работали в одном цехе, дружили.

— Правда, я тоже по-свински сделал,— рассказывал Никешка,— но, понимаешь, увидел его тонконового с тросточкой и в эдаком костюмчике с бантиком, тошно стало, не стерпел... он мне выкать. Не знаком-де! Ах,

чорт ты возьми! Потом я в участок попал, бока болят. Фараоны насовали за милую душу!

Акиндин смеялся.

— Да, брат, а было время — водой не разольешь!

— Было да сплыло. Другой класс, Кенка. Большой сволочью будет: папеньки да маменьки обучат.

— Просветят!

XIII

Осторожно переходя с одной окраинной улицы на другую, замирая в темноте у заборов, перебегая светлые площадки у керосиновых фонарей, Кенка с Никешкой расклеивали прокламации РСДРП.

Вышли они на работу после полуночи. И час и другой все клеили и клеили по знакомым с детства углам и закоулкам рабочего района белые бумажки. Никто не мешал — окраины спали после трудового дня: улицы были темны и пусты; лишь кое-где мигали редкие фонари.

— Много еще? — шептал Никешка.

— Хватит! — шопотом отвечал Кенка, — городским завтра работа...

И опять молча продолжали...

Пугались собственных шагов, вздрагивали и застыли на месте от каждого шороха, от шелеста бумаги, от собачьего лая учуявшей с какого-либо двора людские шаги проснувшейся дворняжки.

— Как снегу выпало! — восторженно шептал Никешка.

— Ничего себе, — отвечал Кенка, — только дождя бы не было: всю музыку испортит.

— Не будет: погода холодная.

— Клей у тебя крепкий?

- Мать делала — она знает.
- В Заречье, поди, ребята кончают расклейку?
- Впятером работают.
- Надо в центр пробраться, Никешка. Хоть бы немного расклеить.
- Опасно. Там живо на городского нарвешься.
- В случае чего — бежать. Только смотри, в разные стороны уноси ноги. Идем, была не была! Больно уж форсисто выйдет: в самое пекло голос подадим.
- Не сорвать бы дело, Кенка? Не велели зря дразнить фараонов.
- Ничего, — сойдет. Не на нос городовому наклеивать будем!

Пробрались в центр и наскоро раскидали прокламации, наклеили на двери богатых парадных подъездов по Царской улице, на зеленые двери лабазов, на афишные щиты... Никешка осмелел — и наклеил прокламацию на полицейскую будку.

Как уходили — тихо смеялись и перешептывались.

- У меня, Кенка, как у пекаря, рука залипла от теста.
- Чем мы с тобой не пекаря? Вон, сколько испекли!
- Завтра будет разговору на заводах.
- Полицию нагонят. Обыски начнутся опять. Прижмут сыльных.

— Прижимай — не прижимай — дело сварганили. Вышлют дальше. На их место других пришлют. Полиция ведь — дура. В мастерской ты молчок: шпики есть, из нашего брата кто-то продался — доносит.

— Полно! Поди, пустяки?

— Ничего не пустяки, а самая настоящая правда. Каждое лишнее слово жандармам известно. Степка Куракин отмочил насчет религии словцо, на другой день в баню ходил — глядит шпик сзади — проводил туда и обратно. Степка девчонку свою огородами выпрова-

живал на улицу смотреть за шпиком. Больше месяца под охраной ходил. Потом с обыском были.

— Я не слышал.

— Степка с тех пор зарок взял говорить в мастерской. Ты ко мне тоже зря не подходи в мастерской: можем влопаться.

— Ясно.

Разошлись по домам.

Марья ворчала на Кенку:

— Полуношник! Добегаешься до дела! Кто кормить меня на старости лет будет. Одна дорога — побираться! Отец-покойник был пьяница, сыновья хуже того.

— Прокормимся, неча тужить.

— Не осилить, Кенка, их, ^иокаянных, понапрасну жизнь можно загубить. В тюрьме сгноят. Бросить бы надо, сынок!

— Ладно, ладно, мать. Ложись-ка на боковую — рано встаешь.

— Я-то лягу... ты-то ложись, неумеа!

Кенка смеялся.

Утром будила его париковская сирена: не опаздывал никогда во-время проснуться париковский кошелек. Кенка спросонья еще слышал ее тревожный гуд — иди-иди-иди.

Весело барабанили ноги по мостовой — висели себе, висели веселые белые бумажки повсюду. Кенка видел, как кое-где находу рабочие останавливались около них, читали, наклоняясь почти к самым прокламациям и сторожко оглядывались по сторонам. Вон одна наполовину отстала, ветер трепал ее. Хотелось подскочить и снова наклеить, чтобы не пропадала зря... А боязно... и затаивался.

У завода насыпано было густо листов; ночная смена жадно подбирала, уходя с завода и рассовывая в карманы.

— О, черти!

— Опять вылезли.

— Здорово, ребята!

Из заводской конторы уже звонили в жандармское отделение.

К обеденному перерыву у заводских ворот прогуливался околоточный и дежурил наряд городских.

Рабочие посмеивались.

— Гости?

— Третья смена, ребята?

— Спозаранок, поди, поднялись?

— Рыщут?

— Ищи — свищи ветра в поле!

На Дегтярке два городских ножами соскабливали прокламации.

Кенка подошел к ним.

— Проваливай, проваливай, чего глаза пучишь? — кричал городской.

Кенка серьезно спрашивал:

— Разве что запрещенное, господин городской?

— Много будешь знать, скоро состаришься!

Кенка, удерживая радостный смех, отошел и, оглядываясь на городских, спешил домой.

— На бассейке я была, — тревожно говорила Марья, — два городских на лошадях проскакали по нашей улице, а потом жандарм проезжал. Все этак по сторонам тыкали, на наклейки-то по заборам. Ой, что и будет?! Принесло этих политических в город — одна смута.

Кенка молча и жадно ел, торопился управиться до гудка.

Марья стояла около стола и смотрела на него.

— На заводе-то ничего, все благополучно?

— Все.

— Смотри, не держи при себе бумажков этих! Не лезь на глаза-то никому: живо попадешь! Вас, молодых-то, ловят так!

— Кто ловит?

— А все ловят, кто поумнее. В заводе всякого народа много. В душу каждому не заглянешь: чего у него в душе-то?

— Ладно, учи, знай!

— Кому, как не матери и учить-то? У детей сердце-то в камне, а у матери в детях. Домой и не подумай носить бумажков, как ономеднясь,—выкину сама в сортир. Неровен час, нагрянут! Думаешь, мало вас по Владимирке грязь уминают?

Кенка смеялся.

— Тебе все смешки, — сердилась мать, — как бы плакать не пришлось, да волосья на голове драть. Туда ворота широкие, дружок, а оттуда узкие. Смотри, Кенка!

— Ну-у пошла!

Мать убирала со стола и жучила Кенку, с тревогой глядела на его бодрое и веселое лицо, потом провожала на работу, шутливо суя ему кулаком в спину:

— Не останавливайся на дороге после работы: домой иди сразу, лучше будет!

Несли молодые ноги Кенку на завод. В мастерской скорее шла работа сегодня. Неприметно для чужих глаз перекидывались свои ребята, посторонивались чужаков.

Перед ночной сменой вваливалась полиция — делали обыск, шарили по карманам, под рубашками, в середышах. Шарили долго, копотливо, злобно косясь в насмешливые лица рабочих.

Гудела сирена, шабаш дневным... Выпускали на задний двор поодиночке, а в проходной будке обыскивали идущую ночную смену рабочих.

Задержали несколько человек с листками. Околоточный махал у носа белыми бумажками и кричал на задержанных:

— Где подобрал? Зачем подобрал? Знаем, как подобрал! Почему я не подобрал?

— Мы не при чем! — оправдывались рабочие. — На дороге валялись.

— Разберем там! Веди, Шаров!

Денную смену выпустили в калитку. Мимо вели арестованных товарищей. Молча встречались глазами, молча провожали отряд городских. Городовые не смотрели, сбивались с ноги, для подбодрения покрикивали на отстающих, заплетались в шинелях. Темная толпа рабочих шла по пятам.

Ночью Кенке стучал в окошко Никешка.

Марья испуганно ворчала:

— Ково там несет нелегкая?

Дрожащими руками открыла форточку в темную ночь Марья.

— Это я... я, тетка Марья, не бойся, буди Кенку!

— Никешка, што ли?

— Да, да, Никешка.

— Чево тебе? Пошто будить-то? Парень только уснул.

— Надо, надо, скорее! Дело сурьезное есть до нево.

— Дела-а ваши, разбойники! Отворить што ли?

— Нет, некогда, высылай сюда!

Кенка торопливо встал. Марья вздывала огонь. Никешка снова постучал в стекло.

— Сейчас, сейчас, нетерпежка! — высовываясь в форточку, сердилась Марья.

Никешка шептал:

— Огонь надо погасить! Гаси скорее!

Марья в испуге отвечала:

— Новое дело! Свой огонь не зажигай? Спятил ты?

— Полиция на улице — заметят! Где Кенка-то? Што он, умер?

Марья задула лампу, суежилась по комнате и торопила сына.

— Окошеливайся пожилее! — Вишь, полиция идет! В штаны попасть, што ли, не можешь? Ох, наказание! Доигрались? Допрыгались?

— Ну, ну, брось панику, мать, раньше времени, — говорил Кенка, — навредить можешь!

Он шарил в темноте двери в сени.

Марья шептала:

— Кенка, Кенушка, воротись потом, скажи. Двери-то я не запру... Ох, что и будет?

Никешка вполголоса говорил на крыльце:

— Всю полицию на ноги подняли. Вторую улицу обыскивают. У меня сейчас ищут. Я домой шел, увидел в окошко — айда. Егора арестовали и других ссыльных. Што делать-то? У тебя ничего нет?

— Нет.

Неподалеку раздались свистки полицейских.

— Надо уходить, Кенка!

Кенка молчал.

— Али дома останешься для отводу глаз?

— Нет, зачем? Подожди тут, я сейчас выйду.

— Скорее, скорее!

Кенка быстро говорил матери в комнате:

— Полиция обыски делает. У Никешки обыск. Придут, ежели, говори, в ночную на рыбалку ушел. Не спутайся!

— Нет, нет, иди скорее! — торопила дрожащая Марья. — Не утоните там!

Кенка схватил в привычном месте в сенях удочки, корзину.

Марья озабоченно спрашивала:

— На работу-то поспеешь? К свистку-то?

— Как же, поспею. Прощай, матка!

— С богом, с богом! Удильщики, тоже отчаянные толовы!

Марья щелкнула крючком и поспешила к форточке. Она слышала, как смеялся тихо Никешка, как сапоги быстро отбивали по дороге дробь в темноте, корзина поскрипывала на руке у Кенки.

Марья вздыхала остылую ночь в расстукавшееся тревогой сердце — и вдруг рассмеялась весело в темноту, унять ее не могла.

— Выдумщик! Выдумщик! — шептала сама себе. — Хи-и-и-трой!

Марья легла на кровать и спокойно ждала, гадала — придут, не придут, — думала о Кенке, прислушивалась к тараканьему шуму за шпалерами и к мышью визгливой беготне под полом.

Ночь тихо вышагивала минутами, часами, у Марьи сердце билось ровно: раз-раз. И чево ему бить суматоху, когда Кенка ушел на рыбалку?

У Бесова ручья, недалеко за городом, померкивал костер. Никешка с Кенкой коротали ночь. Поставлены были донки на съеденье ершам. Как разжигали костер, нашли немного червяков и насадили.

Кенка шутил:

— Ненароком на рыбалку угодили! Возьмем утро, может, расходы оправдаем!

Никешке было не до смеху: думы его в городе. Он беспокойно посматривал в темноту и вздыхал.

— Поди, засада у меня? Как думаешь?

— Плюнь, по пути зашли! И меня зря взбаламутил. На што им тебя? Они почище бобров найдут!

— Под порогом у меня лежит твоя книжка, не нашли бы, проныры!

— Невдомек им будет.

— Чорт их ведь знает!..

— Чего уж тут задумываться — что будет, то будет. Вот насчет червяков надо смекать. Как посветлеет, пойдем искать... До свистка часа полтора верных ловли. Время хоть и неподходящее, а может дуром дернуть важнецкая рыба. На городовиков, ежели караулят, с рыбой иди прямо: рот разенут!

В окошко порошил свет, как мукой; Марья глядела на часы-ходики, на черные усы-стрелки — прыгающие со ступеньки на ступеньку, все ближе и ближе к заводскому гудку; выглядывала в форточку на улицу... все тихо, безмолвно. На Дегтярке даже было не слышно собак.

Когда приходит свет, самое страшное перестает пугать человека — и Марья рада утру. Она ходила, пошатываясь из стороны в сторону, голова была налита тяжестью, давила на глаза невыспанная ночь, а ей — весело, радостно...

— Клюет, ей-богу у меня клюет, Никешка! Смотри, смотри, повело!..

Кенка подсек, леска натянулась, Никешка застыл на месте, боялся переступить, чтобы не вспугнуть рыбу.

Кенка осторожно подводил рыбу к берегу и тревожно говорил:

— Ой, кажется, уйдет! Нет подсашника! Вот незадача будет!

— Ты не торопись, — шипел Никешка, — не тяни зря, пусть ухаживается... Леска не гнилая?

— Нет. Но какая здоровая тянет, как якорь. Не взять, не взять, должно быть...

Рыба отходила от берега, Кенка давал ей слабинку, изгибался весь над водой, вытягивал руку, легонько останавливал рыбу и начинал водить по кругам.

— Не отпускай, не отпускай далеко! — сердито бормотал Никешка: — на дно в глубину бросится!

Рыба тянула леску. Кенка погружал удилище в воду до половины, норовя угадать рыбий ход под водой, затем снова он выводил ее наверх, делая все меньше и меньше круги; вдруг рыба взвилась над поверхностью и стремительно кинулась в сторону...

— Есть! — шепнул Кенка весело. — Тут! Заглотила!

— Здоровая щука, фунта на три, — с восторгом бормотал Никешка. — Не опусти, не опусти... Подводи к берегу, в траву... Под водой и бери руками, а то сорвется... Дай я!

Кенка боязливо отвечал:

— Нет, не подходи близко, присядь, чтобы не видала тебя...

Никешка присел. Кенка бережно взял в руки леску и потихоньку перебирал ее руками.

Никешка почти с плачем бормотал:

— Не бери за леску, уйдет, рванется и уйдет. Ну, кто так ловит? Разве можно за леску? За удилище надо — оно гибкое!

Кенка молча запустил руку в воду, ощупал рыбу, схватил ее и вдавил в песок.

— Помогай! помогай! — закричал он.

Никешка ухватился обеими руками за рыбу, и вместе с Кенкой они выкинули щуку на песок.

— Ого-го! Ого-го! Ай, да ну! Ай, да щучка!

Потом торопливо закинули удочки и напряженно ждали...

Быстро надвигалось утро, розовели облака, розовели крыши в городе, 'пел за Турундаевским плесом пароходный свисток, дымились фабричные трубы, и дым качался над городом черными кучками.

— Конец, — сказал Кенка, — сиди не сиди — ничего не высидишь. Поехали-ка домой! Недолго осталось и до гудка: только, только домой забежать. Улов — не плохой!

— Поехали, так поехали! Складывай амуницию.

Кенка сильно греб, Никешка помогал кормовым.

— Ежели на завод, а не в другое какое место попадем...— тревожно шептал Никешка, привязывая лодку у Дегтярки.— Мне сегодня боязно... хоть тресни — боязно... неохота и на дом свой глядеть...

— Брось, тебе говорю — чему быть, тому быть! Не век нам на реке сидеть. И на реке возьмут, когда понадобится. Вали-ка домой, а я к себе... Городовые, поди, теперь спят — пузырь наспали. Не до нас! А мы дурака свалили — тряс манже — утекайла устроили! Ты все, осина! Шагай!

Марья поджидала Кенку у окошка. Увидала. Бросилась отпирать. Отпирала крючок и говорила за дверью:

— Не были, не были, никою не было! Никешка набрехал!

— А я харчей тебе принес, — смеялся Кенка.

— Ну?

— Гляди, щучина в корзине на десятерых.

Мать вытащила щуку и радовалась.

— Какая! В обед тебя угощу ей. Как и поймал-то такую?

— Так и поймал! На шесть волосков вытянул, — гордо и довольно отвечал Кенка.

— Устал, не спамши, поди? Сон дороже не такой еще щуки, а хоть бы с пуд. Никешка твой зря начал! Скоро гудок — чайку не успеешь полакать из-за ево.

— Он не худова мне хотел, чего ты, мать?

— Сам не спит и людям спать не дает! Городовых и для близиру не было. И я всю ночь на бобочек не уснула.

— Ты-то совсем зря: спала бы себе, спала.

— Уснешь тут с вами!

Пришло время, и Кенка поскакал на завод, застегивая находку пальтишко.

— Что те конь понес! — говорила Марья про себя, наклоняясь в окошко. — Будто с постели сорвался!

И весело глядела в сутуловатую спину, бегущую по Дегтярке.

На заводе не досчитались многих товарищей: замели в ночь. Замели и Никешку, как пришел с рыбалки: под порогом ощупали недозволенную книжку. Мать к Марье приходила поплакать о Никешке.

— Усатый такой жандарма, мать моя, все переворочал. В нужник не посовестился, башку прямо в дыру запехал. Он и порожек с изъязном усмотрел, а она там и полеживает. Уж потом и началось шаренье — и в трубу, и в печку, и за иконы, меня-то всю ощупали... Я стыдить, а как главный-то ногой об пол раз... да такого матюка сказал, — от своих от роду не слышывала... Кирюха мой, как дерево сидит — будто отродясь немой... Никешка к утру подошел — его-то им и надо... Попрощаться пожелал с отцом, с матерью — и то не дали.

— Дадут ли!

Кенка злой воротился с завода: до шуки охоты не было...

Вечером навел полную квартиру людей заводских и фабричных, мужиков и баб, рамы одеждой завешали, сторожа у ворот на лавочке сидели — семечки грызли; приходили длинноволосые политические, речи долго говорили, Кенка говорил не хуже образованных, а уж понятливее для рабочих во сто раз. Марья в удивленье пришла.

Степка — старший — в дверях на кухню с матерью стоял — будто с завистью шептал матери:

— Что выливается из рыболова-то?

Политических задворками вывели, поодиночке, кто куда расходились; Кенка со сторожами у ворот долго сидел, как проводили всех.

С этого и начались у Кенки собрания.

Марья Кенке говорила:

— Остепенись, парень, до добра это дело не доведет. Плакать поздно будет. От работы отобьешься. Што тебе за корысть молодость свою губить? Живи, как все, тебе больше других надо? Отстань, говорю! Поумнее вас не могут осилить, а вам-то и подавно.

Кенка посмеивался, таскал домой книги, бумажки пачками, револьверы; мать на чердаке в дымоход прятала — колено в дымоходе лишнее было складено: для глаз ни к чему.

Совсем отбился парень от рук: хозяином стал над своей жизнью.

Поп от Богородицы-на Нижнем Долу Марье по соседству говаривал:

— Направленье у твоего сына, Штукатуриха, вредное. Слухи ходят. Как бы гром не грянул!

Марья в сердцах отвечала попу:

— За своими ребятами гляди, отец Иван! Похабники они у тебя. Вторую девку на Дегтярке испортили. А мой Акиндин женщине слова озорного не скажет.

Отец Иван в краску впал и глазами застрелить хотел, а язык, как у пьяного ноги, заплетаться начал.

— За... за такие речи, Штукатуриха, заштукатурить в каменный мешок мало...

Марья засмеялась над попом.

— Што, што, не по нутру? Заугрожался? Не напраслина, не напраслина, батюшка отец Иван, а истинная правда про твоих чад. За правду ответ не страшен. И на тебя через них тень падает: народ и то говорит — поп с проповедям, а поповичи под подол. А еще образование получают. На то им образование дается, штобы юбки загинать? А слухи всякие, кому не лень, про человека распустить можно. Хорошая слава в лукошке лежит, худая слава по дорожке бежит, отец Иван!

— Ладно уж, ладно уж, Штукатуриха, — засмягчел поп, — я ведь так сказал, к слову, по соседству... в предупреждение...

— Да и я, отец Иван, — ухмыльнулась Марья, — не с сердца какого, случай пришел, мать ты во мне растрепал, вот я и забормотала...

— Ох, дети, дети! — вздохнул поп. — Трудное это дело.

— И не говори, батюшка, какое трудное, — поддакнула Марья, — другая мать ночей не спит из-за них, как бы все по-хорошему жить, а другой матери утешенье и радость дети...

— Да, да! Однако, слухов остерегаться надо!

Поп завывагивал от Марьи широкими шагами, опустив на грудь кудластую голову. Марья узрившись на его широкий зад, на шмыгающие под рясой начищенные сапоги, незаметно плюнула вслед и подумала злобно:

— Жеребьячья порода! Следит... слухи подбирает подолом!

А Кенке в страхе говорила:

— Достукался? Поп упреждал! Ты бы для отвода глаз в церковь сходил раз, другой. Попы, сам говоришь, за правительство. Подзовет городского — и шепнет...

Как на пасхе пришел поп славить, Кенка долго с попом разговаривал о заводских делах и все величал его батюшкой с почтением и уважением.

Поп на крыльце провожавшей Марье, самодовольно поблескивая глазками, снисходительно сказал:

— Рассудительный работник! Из него будет хороший семьянин! А не пьет?

— Нет, отец Иван, он у меня, как красная девушка!

— То-то! Отец-то был пьяница. Вино это — зло.

— Как не зло, батюшка? Какое еще и зло-то!

Псаломщик и поп, покачиваясь, перешли на соседний двор.

„Христос воскрес из мертвых“—неслось торопливое пение славельщиков в открытые окна от соседей. Кенка морщился, а Марья весело хвалила сына.

— Так-то лучше—лишнево глаза и нет! А поповский глаз—завидуший, злой... Попы всегда силу имели. На што уж наш поп никудышный, как только поповское званье не симут, а сам губернатор к ручке подходил, как в церковь приезжал нащет старины осматривать!

— За гриву бы его да об земь!—с ненавистью проскрежетал Кенка.—Околпачивают народ чурками! Придет время, погодите!..

— Посуленного три года жди, Кенушка, не бывать этому! Да и грех, великий грех убивать людей—будь они того хуже. Очкнись, што ты? За это не похвалит никто!

Кенка махнул рукой на мать...

На всех колокольнях и звонницах ребята всех приходов названивали в колокола, кто во что горазд. Еще недавно Кенка не сходил с колокольни, поочереди с ребятами звонил, теперь он слушал колокольную суматоху, и ему была противна многоголосая медная пасхальная глотка.

— Как в набат бьют!—сказал Кенка.—Поснимать бы все колокола!

Мать не на шутку рассердилась.

— Не говори не дело-то, не заговаривайся! Руки отсохнут!

— Не отсохнут.

— Больно умен стал, выше головы!

После праздников завод Парикова работал все хуже и хуже. Кричала сирена в одни и те же часы, торопились к проходной будке входящие и выходящие по сменам рабочие, бригадиры и мастера глаз не сводили с рабочих, по цехам как будто в шуме станков пере-

давались понятные сторожевые голоса и будоражили одно общее сердце.

В заводской лавке продавали гнилую треску. Рабочие разбили бочку и закидали треской приказчиков. Арестовали зачинщиков. С завода увольняли ежедневно то одного, то другого рабочего. В получку рабочим не додали. Гулом покатился по цехам крикливый, размахивающий руками, остро-блистающий глазами ропот. Ночь не проходила без арестов. Цехи редели. У ворот пребывали городовые. В рабочем районе покачивались конные казачьи патрули. Подпольная типография ковала новые и новые листки. Выслали ссыльных из города на Печору — листки выходили. Их получали по почте знатные городские особы, их рассовывали по карманам в театрах, в конках, на базарах, расклеивали по заборам, на телеграфных столбах, засыпали заводы, фабрики, казармы, вокзалы. Город шептал, говорил, шумел — рабочие, рабочие, рабочие!

И прорвалось.

В котельной погибли двое рабочих. Наехало начальство. Расследовали, осматривали... У проходной будки городовые сменились казаками. Весь завод поднялся на похороны. Полиция тайно в ночь похоронила погибших. Рабочих заперли по мастерским. На второй день бросили работу, мастеров вывезли на тачках, загудела отчаянно сигнальная сирена. Рабочие поползли черными змеями из заводских корпусов на двор, и тысячи голосов — молодых и старых — негодующе запели:

Отречемся от старого мира,
Отряхнем его прах с наших ног...

Из толпы вырвались белые листовки. Их захватили сотни рук, глаз. И тут же поднялся над толпой маленький язык пламени — красный носовой платок в поднятой руке знаменосца...

Рабочие вышли со двора в запасные ворота. Пение оборвалось, спряталось зная, толпа быстро рассеялась... Прискакавшие казаки стали гоняться за отдельными рабочими, закрывавшими отстраняющими руками голову от хлещущих нагаек. У Ефимкина на мануфактуре рабочие разнесли сушилку, покрыв тысячами изорванных клочьев миткаля и непробойки фабричный двор. В железнодорожных мастерских свой казенный поп усовещевал на собрании рабочих, махал крестом и кричал:

— Товарищи! граждане! братцы! рабочие! Други и друзини!..

Кто-то, шутя, издали набросил попу на шею аркан, стащили попа с ящика и оставили развязываться на свободе.

Потемнели заводы и фабрики стеклами, напрасно звали сирены, трубы чуть-чуть курились в небе, словно потухающие деревья в лесном пожаре, город замолк, затаился углами, переулками, тупиками. Мужики не выезжали в базарные дни.

Кенка не ночевал на Дегтярке.

XIV

За Горбачевским кладбищем, на усторонье, был такой тонкий сквозной березнячок. Подходило к нему болото кочками, кустиками, зыбунами. Кто не знал верной прямой дороги, в обход ходил, от реки или от большака. А за березняком густой и темный лес шел в Хорохоринские волока верст на семьдесят.

Рабочие собирались в березнячке с давних пор, как только фабрики и заводы зачали в Волоке. Полюбилось им место недоступное, тихое да безлюдное. Горожанин норовил это место обойти стороной, отчаянный рабочий человек пер туда, как к себе на квартиру. В месте условном, на горбыле, рабочие и сходились.

Вторую неделю стояли заводы. Бастовали дружно и согласно. Один мыловаренный Пеункова сгузал — под охраной варил мыло. Да чернорабочие у Парикова встали на работу — двор чистили от нечего делать. Из проходной будки, раньше чем выйти домой, выглядывали с опаской: не стерегут ли товарищи для сраму?

Марья жила под наблюдением. Сыщики по ту сторону Дегтярки расхаживали по мостикам. Жандармы взрыли в домишке всю подноготную.

На маевку первого мая сошлись в березнячок париковские, ефимкины, железнодорожные, кожевенники, свистуновские, кирпичный завод, мукомолы Вахромкины.

Шелестело красное знамя на высоком шесте. Ораторы, приезжие и свои, кричали под знаменем — по березнячку эхом летели слова. Стояли, сидели, лежали кругом знамени.

Все выходили и выходили ораторы, и каждый заканчивал одним:

— Долой самодержавие!

И в ответ сотнями голосов взрывалось по березняку:

— Долой! долой! долой!

Потом пели. И снова слушали бередящие душу слова товарищей.

Массовка заканчивалась. Начали расходиться небольшими кучками. И вдруг кто-то где-то крикнул:

— Казаки!

Толпа замерла, обомлела, испуганно сжалась, некоторые побежали, некоторые полезли на деревья... Казаки не появлялись.

Кенка опомнился и зычно закричал:

— Провокация, товарищи! Успокойтесь! Не поддавайтесь провокации!

Но в это время с разных сторон в лесу затоптало, застучало, закричало:

— Товарищи! Товарищи!

На горбыль ворвались запыхавшиеся, бледные и взволнованные рабочие.

— Товарищи! Мы окружены полицией и казаками!

— Товарищи, я пробрался из города! В городе погром. Бьют евреев. Горит народный дом. Горит наша чайная. Горит библиотека. Надо идти в город.

Возмущение, как внезапно дунувший вихрь, прокатилось по лесу.

— Идем! Идем! Все вместе!

— Прорвем цепи!

— Товарищи, обсудить надо!

— Не время, не время!

— Товарищи!

— Берите знамя!

— Вперед!

— Знамя вперед!

— Долой палачей!

— Долой самодержавие!

Запели жадными, злыми голосами марсельезу — и двинулись из березняка.

Поодаль от опушки во всю ширину прохода стояли цепи городских, а за ними отряд спешившихся казаков.

Рабочие шли прямо на цепи, выстраиваясь на ходу и беря друг друга за руки. Красное знамя, как на носу корабля, хлесталось впереди. Казаки вскочили на лошадей и построились. Лошади заржали. Городовые взяли на-изготовку винтовки. Околоточный замахал руками, требуя остановиться. Рабочие упорно шли, но в задних рядах начали отставать, толпа разорвалась на две половины, некоторые по полянке скосили обратно к березняку, но из лесу выходила, посмеиваясь, новая цепь городских.

Толпа смялась, снова сгрудилась черным, упругим комком, кричала, махала кулаками, знамя опустилось ниже. Сзади прогремел выстрел... Околоточный резко свистнул. Цепь городских раздалась.

Казаки, гикнув, понеслись на толпу. Знамя кувыркнулось над толпой и упало. Нагайки зачертили воздух, толпа разбегалась по полянке, к лесу, к болоту. Городовые били прикладами рабочих. А когда казаки прижали к зыбунам толпу, и она остановилась, замерла, заголосили работницы, некоторые упали на колени, городовые открыли стрельбу залпами по одиночкам.

Вся опушка была усыпана картузами, платками, калошами, тростями; повсюду сидели на полянке рабочие, сбитые с ног лошадьми и нагайками; они утирали потные и окровавленные лица; кое-где неподвижно, не шевелясь, лежали убитые и раненые...

— Расстрелять сволочей! — кричал казацкий хорунжий. — Мать вашу!..

Городовые начали сгонять сидящих на полянке к зыбунам, подбирали охапками одежду и со смехом несли ее к толпе.

Рабочие, вбирая голову в плечи, прошмыгивали в толпу мимо лошадей, ежась под ударами нагаек и не смотря товарищам в глаза.

— В болото, так вашу мать, в зыбуны вас! — орал хорунжий.

Рабочие молчали.

— Кто стрелял, выходи! Запорю всех до одного!

Рабочие не двигались.

— Зачинщиков давай! Кто зачинщик? Что в рот воды набрали?

— Разбирай одежду! — командовал околоточный.

— Живо!

— Стройся!

— Бабы, вперед!

Рабочие в кольцо городских и казаков быстро пошли. На полянке осталось лежать несколько товарищей. Вышли на дорогу, оглядывались назад: около лежавших ходили городовые и наклонялись к ним.

— Не моргать по сторонам, сволочи! — бесился хорунжий. — Ребята, гляди в оба! В нагайки ослушников!

Над городом плыл черный густой дым, крутился в нескольких местах и подкрашивался огненными каплями. На Горбачевском кладбище, как проходили мимо, мирно бил колокол к вечерне. Старухи в трауре посторонились с дороги и, жуя желтыми беззубыми ртами, недоумевающе глядели на шествие.

— Куда вас, батюшки, ведут-то? — не удержалась одна старуха.

— В рай! — крикнул Кенка.

Хорунжий позеленел.

— Старая кочерга, прочь с дороги!

И пнул ее ногой в лицо.

Старуха упала в канаву и застонала.

Рабочие разом остановились — задние ряды прижались к передним, все закричали, раздвинули цепи городских...

— Палач!

— Негодяй!

Казаки угрожающе замахали нагайками...

Волнение улеглось — и вновь пошли.

Старухи, подняв товарку, смотрели вслед, покачивали головами и долго разводили руками, указывая на церковь.

Рабочие миновали предместье. Все чаще и чаще попадался быстро идущий тревожный люд. Смотрели наскоро — и спешили скрыться.

Чем ближе к центру, тем яснее рабочие слышали гул голосов, крики, звон стекла, надрывный плач детей и резкие свистки.

— Держи цепи! — командовал околоточный.

— Ребята! — кричал хорунжий казакам, — будь начеку!

На Царской улице летел, как снег, пух перин, подушек, на дороге валялись кадки, котелки, пряники, скрипки, одежда, из окон домов летели тарелки, горшки и рассыпались со звоном о камни мостовой.

Внутри домов вскрикивали женщины, подбегали с растрепанными волосами к выбитым окнам, их оттаскивали в глубину комнат, зажимали рот...

Пьяная толпа в поддевках, в солдатских шинелях, в пиджаках с кушаками топталась на мостовой, орала одним сплошным ревом, качалась от одного дома к другому, воздымала кулаки, опускала их, трепала в клочья еврейские лавки, лавочки, магазины, била смертным боем евреев, вырывала бороды, разбивала, раскачав жертву, о камни, евреек волочила за косы и топталась на животах матерей, девушек, старух...

Крик возмущения рабочих смешался с ревом толпы.

Городовые спокойно стояли посередке улицы на постах и отвергивались от погромщиков.

Толпа заметила рабочих, отхлынула от домов, запрудила поперек улицу и угрожающе завопила:

— Забастовщики!

— Крамольники!

— Да здравствуют казаки!

— Смерть жидам!

— Бей крамольников!

В рабочих полетели камни, грязь, плевки... Хорунжий скомандовал казакам очистить проход, и рабочих провели сквозь строй пьяных, обезумевших от вина и разбоя погромщиков.

И как шли, смело и насмешливо глядя в погромные глаза толпы, родилось неудержимое волнение — одним дыханием, одной грудью закричали сотни рабочих:

— Долой самодержавие!

Все смешалось, завывало, запрокидывалось на рабочих, казаки бросились на погромщиков, на рабочих, толпа побежала, хорунжий в бешенстве выхватил шашку, — и погромщики были оттеснены.

Поредевшую толпу рабочих уводили почти бегом.

А они продолжали неистово кричать:

— Долой черную сотню!

— Долой самодержавие!

Позади пьяные, гнусавые глотки затянули:

Спаси, господи, люди твоя...

Кенка с рассеченным нагайкой лицом шел в передних рядах. Кровь лилась за ворот, он прижимал рану платком, шел, шатаясь и дрожа от нахлынувшей в глаза, в уши, в сердце, в руки — ненависти.

Он слышал тяжелые шаги товарищей за собой, цоканье копыт, лязганье казацких шашек.

А как подводили к тюрьме, в городском предместье, у Турундаевского плеса, вдруг навстречу выехало из переулка ландо. Седой Нефед придержал лошадь. В ландо сидел Гога с букетом фиалок. Рядом с ним в белом платье с голубым развевающимся газом на шляпе сидела молодая девушка. Гога и Кенка встретились глазами. Гога побледнел, задвигался на сиденье, а девушка, прищулив глаза, стала внимательно разглядывать рабочих. Она вскинула тонкую узкую руку в белой перчатке к глазам, застрания солнце. Легкий ветер поднял голубой газ и он заплескался у лица Гоги.

Кенка громко крикнул:

— Здорово, Нефед! Во-о-зишь?

Нефед снял шляпу с зеленым пером, растерянно улыбнулся и боязливо покосился на своего барина. Потом ландо быстро помчалось. Входя в ворота тюрьмы, Кенка оглянулся: голубой газ мелькал в поднятой ландо серой пыли, как мелькает кусок лазури в грозном облачном небе.

Москва, 1924 — 1925.

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Медведи	3
Борки и Овражки	20
Кони	39
Монах	47
Сундук	58
Голова	65
Казнь	71
Офицерские жены	80
Тарелки	89
Камень	98
Зеленые Горы	103
Черная Гряда	133
Корзина	139
Сіверко	148
